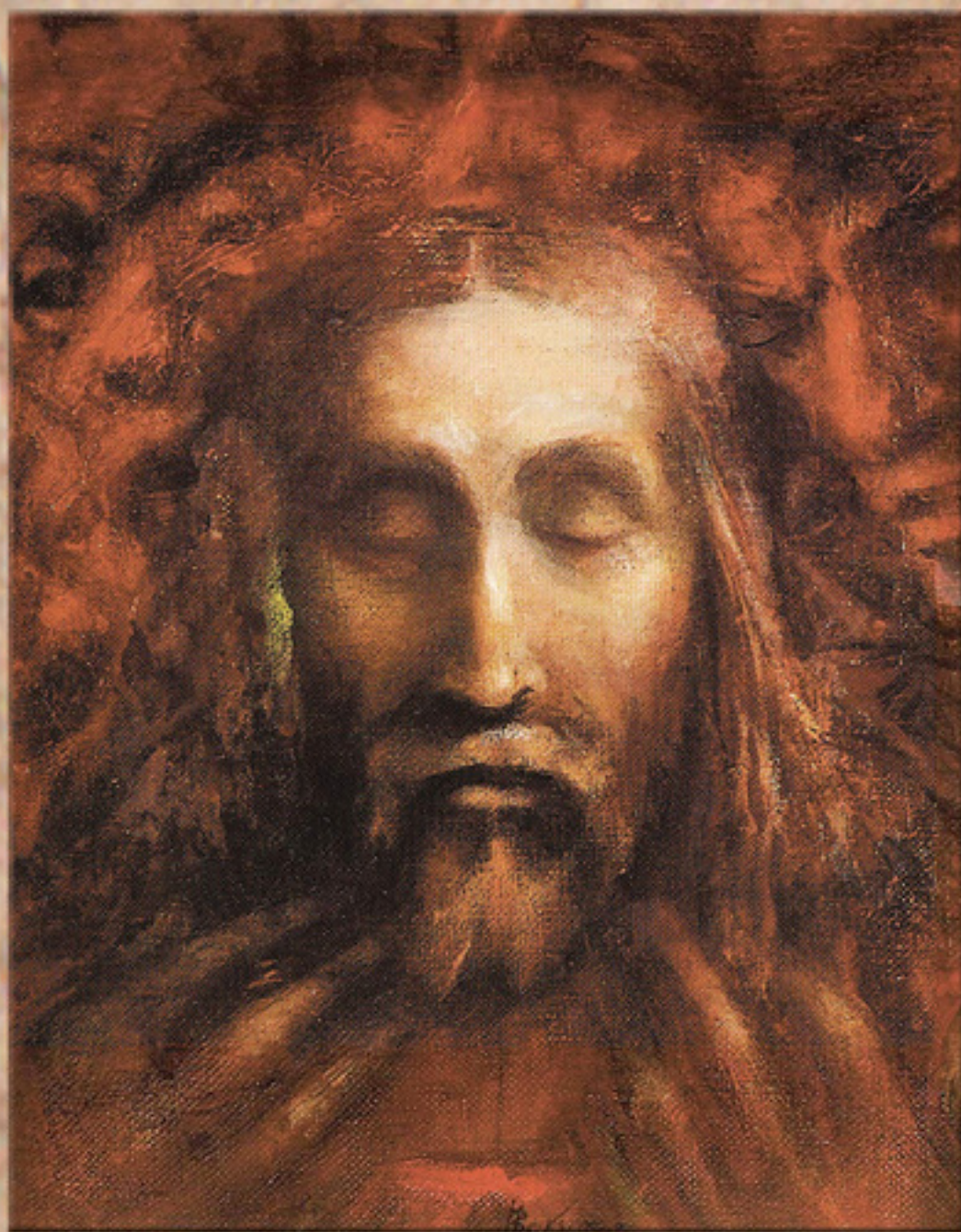


Владислав Сосновский



**ВОРОЖЕЙ**

Владислав СОСНОВСКИЙ  
**Ворожей (сборник)**

«Э.РА»

2016

УДК 821  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

**Сосновский В. Г.**

Ворожей (сборник) / В. Г. Сосновский — «Э.РА», 2016

ISBN 978-5-00039-614-8

Романы «Хирург» и «Дом в океане» – это книга о Колыме, ее трагическом прошлом и трудном настоящем. А также – приглашение к знакомству с обитателями Дальнего Востока, их духовным миром, моральными принципами и кодексом чести истинно русского человека.

УДК 821  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-00039-614-8

© Сосновский В. Г., 2016  
© Э.РА, 2016

## Содержание

Краткая историческая справка	6
Современная русская проза	9
Хирург	11
Часть первая	12
Конец ознакомительного фрагмента.	87

# **Владислав Сосновский**

## **Ворожей**

© Сосновский В. 2016

## Краткая историческая справка

В XXIII веке форма «ворожея» указывала и на женский, и на мужской род, определяя людей особенно женского пола, занимавшихся волшебством, колдовством, предсказаниями и пр. Чаще, однако, словом ворожей, ворожея называли предсказателей судьбы, знахарей, целителей. Это могли быть и русские, и нерусские: цыгане, угро-финны, татары и др. Изображения их встречаются довольно редко. Две иллюстрации, в которых присутствуют лики кудесников, можно найти в Соловецком лицевом списке Жития Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–XVII в.) Эти орудники, ворожеи не имеют совершенно ясных отличительных особенностей ни в одежде, ни во внешности, – вероятно потому, что они воспринимались как истинно русские люди, а не как экзотические иноземцы в особых нарядах с колпаками на головах.

Таков простой русский человек, как следует из романа «Ворожей», и наш современный герой по прозвищу «Хирург».



Родился в Украине в 1947 году. В красивом и тихом по тем временам городе Днепропетровске, расположенном по обе стороны Днепра.

Из глубины детства помню скорбную, без крыши, дотла разрушенную немецкой бомбой шестиэтажку, стоящую как раз напротив нашей полудеревенской хаты. На развалинах разбитого дома мы, ребяташки, играли в свои детские игры. Этот черный фрак мертвой развалины до сих пор ношу в большой памяти.

В остальном, все было прекрасно. Не существовало, как сейчас, никакого хаоса. Не было истеричных лжеправителей, ежедневно лгущих своему народу об угрозе России, об агрессии России. Мы были одной братской страной. Тогда цвела и одуряюще пахла акация, празднично наряжалась сирень, и люди, все вместе – украинцы, русские, евреи и др. – дружно, единой семьей отстраивали разбитый войной город.

В юности увлекался плаванием, греблей, парусным спортом. В школе более всего грела литература, география, астрономия. Эта любовь, скорее всего, и определила дальнейший жизненный путь.

После школы работал слесарем на заводе. В 1967 году призвался в армию. Служил в Киеве в войсках ВВС. Воевал в Чехословакии, если это можно назвать войной. Была оккупация. Хотя, все-таки война, где тоже гибли люди. Славяне.

Война добавила в мою жизнь строгость к самому себе, способность реально и быстро оценивать и людей, и ситуации, проявила чувство дружбы и, как, может быть, ни странно, романтики.

В армии начал писать первые очерки, рассказы, повести. Много читал и печатался в Киевских газетах и журналах. По окончании службы поступил в Московский Литературный институт им. Горького. Учился у известных писателей Юрия Нагибина и Бориса Бедного. После института работал редактором в журнале «Октябрь», а еще через некоторое время ушел к журналистам и в этом качестве трудился около двадцати лет. Тайга, тундра, отдаленные поселки, погранзаставы, побережья морей и океанов стали моим домом от Кольского полуострова до Колымы и Чукотки.

К 1983–85 году вышли три книги прозы в издательствах «Советский писатель» и «Молодая гвардия». Это повести и рассказы. Потом были Дальневосточные романы, опубликованные в России, изданные в Канаде.

*Эта книга посвящается моей жене Надежде, которая всегда и везде была со мною рядом.*

## Современная русская проза

ВЛАДИСЛАВ СОСНОВСКИЙ для широкого читателя писатель новый, хотя его романы, повести, рассказы печатались и в России, и за рубежом. Это честная, интеллектуальная, прямая, а порою и жесткая проза, украшенная, к чести автора, изрядной долей юмора. От других писателей Владислава отличает то, что ему, как немногим, удастся успешно «играть» в пограничных ситуациях. На грани жизни и смерти. Таким образом, проза Владислава Сосновского нередко соприкасается и с мистикой, и с сюрреализмом, и с особой экспрессией.





Будучи журналистом, военным, гражданским, Владислав прошел пешком, прогремел в поездах, пролетел на самолетах, вертолетах, прокатился на оленях, собаках от Кольского полуострова до Колымы и Чукотки. Так что ему есть, о чем рассказать людям.

# **Хирург Роман**

*Посвящается моему Отцу, который незримо участвовал в создании  
этого романа.*

## Часть первая

Осень сорвалась в один день. С предела своей обворожительной поры упала в омут сырого, серого тумана, мороси и дождя. И грустно стало наблюдать унылую любовь старухи-слякоти к молодому и глупому снегу. Вчера еще Бухта жарко пылала от солнца, и глубокое небо широко обнимало океан до самого окоема. Чайки кричали радостно, как весной. Их бельканто слышно было по всей округе. Сопки кровенились брусникой, и кто не ленился, тащил домой, согнувшись пополам, полные рюкзаки и ведра сочной, спелой ягоды. А сегодня хрипло запели деревья, и в необъятно грязных лужах начала промокать обувь. Все. Как злая дворняга, вцепилась в нежное тело мира ощеренная, косматая осень.

Ах, снег, снег!.. Метель-кручина. Словно во сне только что стояла за спиной в золотом сарафане красавица-осень, и – нет ее. Пролетела, что сон. Сухая, солнечная, синяя. То ли море тонуло в небе, то ли небо в нем. Навага и корюшка брали ошалело. По рекам еще бродил кижуч. Люди запасали на зиму грибы, ягоды, рыбу.

Был бы дом. На камне. Не на песке.

У Хирурга – всю жизнь на песке. Да и домом ли можно назвать. Сплошная казенка: общага, камеры, подвалы, чердаки... Хотя был, конечно, и дом когда-то. И жена, и любовь, и почет, и слава. Но когда все это было? С кем? У кого? Будто и не у него вовсе. Не с ним, а в чьей-то чужой, посторонней жизни. Сто лет назад. Да и звали ее как, жену? Господи! Как же имя-то у нее?

Хирург потер слезящиеся глаза оборванным рукавом грязной морской шинели с чужого плеча.

Серая бухта, укрытая снежным крылом, летела вверх, будто его собственная огромная душа, а обладатель той души сидел, скрючившись, под косым снегом на мокром валуне и силился разглядеть в памяти имя любимого некогда человека.

Как же?! Черт бы меня побрал! Оторвало имя, что лодку в бурю. Любовь-то угасла давно. Один пепел. Но хоть название пеплу.

Хирург забыл, когда в последний раз вспоминал о жене. А сегодня вот накатило, слез не прогнать, сопки не видно, лишь туманная пелена.

От напряжения он встал и пошел к морю, словно в нешумной волне его таился ответ на мучавший вопрос – тощая плоская фигура, как будто шинель сама поднялась и, волочась по песку, двинулась к воде.

Глухо и сонно вскрикивали чайки, пахло йодом, сыростью, снегом.

Сапоги – правый на размер больше – тут же промокли в запорошенных кучах водорослей. Хирург этого не почувствовал. Он шел за именем той, кому давным-давно, в другом мире и веке дарил цветы, чьи глаза целовал на Невском светлыми далекими ночами. Где она теперь? В какой галактике? Жива ли? Да ведь имя совсем простое. Про-сто-е... Хирург заскрипел зубами и сжал костлявыми руками виски. В голове стоял не проходящий гуд. И вдруг в шелесте накатившей волны он ясно различил чей-то шепот: «Га-ли-на».

Хирург уже не помнил, когда чему-либо удивлялся, но сейчас был поражен явлением сочувствия природы.

Галина! Галчонок!..

Она и похожа была на галчонка. Черноволосая, черноокая, юркая и застенчивая одновременно. Тогда там, на другой планете, в другом измерении, он – ведущий хирург одной из ленинградских клиник, доцент кафедры мединститута Дмитрий Валов, врач, имя которого по уникальным операциям уже знали не только в Союзе, влюбился как мальчишка. И в кого? В свою же студентку – банальнее не придумаешь. Тогда ему было проще залатать чужое сердце,

чем справиться со своим. Хотя нужно ли ущемлять радостную боль, окрыленность, счастливую грусть? Он и не пытался этого сделать: ни к чему.

Операции проходили одна удачнее другой. Ему везло. В то время казалось она, Галина, подарила второе зрение. Он видел то, к чему были слепы другие, и потому действовал мгновенно, неожиданно и точно.

Но слава раздражала. Она была похожа на досадный грохот машин за окном.

Он работал день и ночь. И не уставал. Потому что был молод, талантлив, любил и был любим. И потому что это было его дело.

Клубился рой восторженных почитателей. По углам шептались завистники. Все шло, как и должно на пути звезды. Но кратка жизнь гения на земле, словно кто-то усердно заботится о ее недолговечности.

Тот злополучный день вошел в память, как копьё.

Была весна пятьдесят первого. Ленинград трудно оживал после клинической блокадной смерти. Но оживал. Солнце, слепя глаза, купалось в масляных лужах. Торопливо летела громкая капель, словно таяла, не выдерживая тепла, глубокая небесная синь. Трещали воробьи, громыхали трамваи, набухали почки. Явились женские ноги, замелькали шляпки. Была весна...

Дмитрий только что закончил последнюю операцию, когда привезли его. Валов сказал: «Нет. Я не могу. Сегодня годовщина свадьбы. Есть другие прекрасные хирурги. Кроме того, – он посмотрел на часы, они показывали половину седьмого, – я с восьми утра за операционным столом». Те, кто привезли его, были в серых макинтошах. Они сказали: «Ты, вероятно, не понял, кого мы к тебе доставили. Это очень ответственный работник Apparata».

Он сказал: «Я понял, но меня ждут. Есть другие. Замечательные врачи. Ничуть не хуже».

Дмитрий был искренен. Он любил жену и хотел этот день посвятить только ей.

Те, в макинтошах, и особенно один в яловых сапогах с тяжелым шрамом на щеке, стали кричать, обещая, что его, Дмитрия, могут вообще не дожидаться, раз он так опрометчиво спешит. Что, видимо, он сумасшедший, если не понимает: кого они привезли. Неужели не ясно: других врачей и специалистов у них – пруд пруди, но тут нужен именно он, Дмитрий Валов. Что до ответственного работника, то ему, Дмитрию, не мешало бы знать ближайшее окружение товарища Жданова.

Он сказал: «Ладно. Черт с вами, хотя на ранги мне наплевать. Для меня все равны. Я ни для кого не делаю исключений».

И те в макинтошах, а один в яловых сапогах с тяжелым шрамом на щеке, остались ждать в коридоре, мрачно пережевывая его слова. Тот, в яловых, согнувшись, облокотился на правое колено и погрузил в ладонь квадратный подбородок. «Ну, мы ему мозги вправим, – сказал. – А, Федор?» И Федор, как человек, загнавший зайца в капкан, одобрительно хмыкнул: «Хирург!..» И бросил черную шляпу на соседний стул.

Фронтной врач, постоянный ассистент Валова, ставший на войне совершенным старцем, хмуро ворчал, завязывая ему халат: «Ну не хулиган ты, Митька? Подлинный дундук. Разве так можно с ними? Они ведь, энкаведисты, церемониться не будут. Я их повидал, не приведи господи».

Дмитрий сказал: «Ладно. Хоть ты, Петрович, не бубни. А то вообще брошу все к чертовой матери. Пусть оперирует Левицкий. Отличный хирург. Что они лезут, словно врачей других нет, мать их... Могу я отдохнуть хоть один вечер?»

– На том свете отдохнешь, Митя, – нравоучительно пообещал военный лекарь. – А сейчас хватайся за дело. И собери все силы. Не дай бог, случится что: аппаратчик одной ногой уже по облакам гуляет.

– Ерунда, – отмахнулся Дмитрий. – Я его вытащу. Ему жить еще лет тридцать, как минимум. С такой мордой не помирают.

Петрович вздохнул.

– Глупый ты дурак, Дмитрий Александрович, – определил коллегу боевой врач. – Обломают тебе рога вместе с башкой. Я тебе точно говорю.

Аппаратчика он действительно вытащил. Тот очнулся. Его сразу перевели в спецбольницу. На спецобслуживание. И вот, лежа на спецкойке, ответственный работник выслушал повесть своих подчиненных, а особенно того, в яловых сапогах, о строптивом без всякой меры хирурге Дмитриии Валове.

– Ишь ты, падла какая, – не то удивился, не то обрадовался аппаратчик. – Тоже, гляди-ка, белая кость. Правильно говорил о них товарищ Жданов. – Тут он замолчал, припоминая, что именно изрекал товарищ Жданов по поводу левой интеллигенции, этих «смердящих подонках, троцкистах и зиновьевцах». – Надо поучить. Зелен еще соваться. Гляди-ка... Не таких гнули. Да, Вась? Поучить, конечно. Но... Не шибко: все же гибель он мне ликвидировал.

Год его «учили» в следственной тюрьме. После того, как переломали ребра, расплющили в дверном проеме фаланги пальцев, он понял: они сотворили самое страшное – лишили его дела жизни, того, к чему он себя так долго готовил, о чем мечтал, ради чего существовал. Все стало безразличным. Он впал в какое-то долгое забытье без конца и края. Были еще допросы, однообразные, с жестоким битьем, пытки – с кем связан, что замышлял? Почему сразу не приступил к операции? Это предательство всего Советского Союза. Всего партактива. Ты, по нашему разумению, изменник. Сволочь, недостойная не только стоять у операционного стола, а вообще числиться гражданином Страны Советов.

Потом были пересылка, этап, лагерь под Магаданом; холод, голод, смерть на расстоянии собственного дыхания, десять черных жутких лет.

Сменовластие прошло мимо судьбы Дмитрия Валова. Обдало, опалило ветром перемен, близкой свободы и улетело прочь.

Первое время Галина стучала, куда только было можно. Взывала, молила сообщить, как он и что с ним. Увы! Она билась в глухую стену. Ни проблеска, ни искры, ни тени надежды. Одно слово – враг народа.

В больнице ей тоже никто не мог или не хотел помочь. Кто отворачивался, кто опускал глаза, кто проходил мимо. В конце концов, Галя поняла: ей осталась лишь горькая, тяжелая память. Она жила с маленьким сыном, тоже Димой – единственная весть, которую смогла передать в тюрьму. Сын и только сын стал смыслом ее существования, теплым напоминанием о светлом и счастливом времени жизни.

Теперь Галина молилась за мужа, выпрашивая у Бога прощения и милости. Хотя, прощения – за что? Этот вопрос оставался без ответа.

А Хирург – иначе его ни в тюрьме, ни в лагере не называли – покорно взвалил на плечи крестообразную судьбу и нес ее, согнувшись, сквозь все тернии, выпавшие на его долю.

Двадцать лет лагеря прокатились по Хирургу, что горная лавина. Он вышел оглушенный и сам не мог объяснить, почему сразу не поехал домой.

Лагеря сменились скитаниями, случайными работами в тайге и Магадане, снова тюрьмой за отсутствие прописки, а стало быть – за нарушение паспортного режима, а значит – за бродяжничество и, стало быть... – за старые грехи. «Но за какие грехи, мать бы вашу!» – выстрадано вырывалось из самой души.

Ах, Магадан, Магадан!.. Обетованная столица горя. Сколько жизней зарыто в стылой земле Колымской трассы. Могли бы там лежать и его, Дмитрия, кости. Лишь чудом вынесла судьба. Уцелел. Значит, надо думать, кто-то охранял все эти страшные годы, чья-то любовь миловала, берегла. Только вот для чего? Кто он теперь, Дмитрий Валов? Изгой, бродяга, лист на ветру, мусор человеческий. Без семьи, без дома, без работы. Смешно сказать – хирург. Да было ли это когда-нибудь? Одно название. Словом, бич бичом – так тут называли шатающийся без дела люд. Конечно, он мог бы пойти в больницу, мог бы хоть чем-то быть полезен, но

мысль о невозможности из-за покалеченных рук оперировать была, как осколок под сердцем – больной и невыносимой. В тюрьме и лагере он помогал страждущим и, кажется, не одного спас от гибели, но то было другое. К тому же в больницу принимали специалистов постоянного места жительства. Такого у Дмитрия не имелось. Да и диплом... Где он теперь?

Получить штамп о прописке можно было лишь, подрядившись на тяжелые строительные работы, для которых у Хирурга уже не хватало сил ни физических, ни душевных. С некоторых пор он признавал только сезонную работу в тайге. В небольших людских группах то ли геологов, искателей некоей подземной пользы, отождествляемой Хирургом с обнаружением добра, то ли с наемными косарями на покосах лесной травы, что тоже было благом свободного труда. Над душой не висели начальники, пусть отдаленно, но все же напоминавшие чем-то осточертевших лагерных службистов, отравленным мнимым над людьми превосходством при всех своих пороках и грехах.

В тайге вокруг стояла вечность, целительная тишина и покой. Тут Хирург знал, что ему делать, как, и работал с радостным сердцем, понимая суровый бесконечный мир, будто собственную судьбу. Он наблюдал изо дня в день шапки ледников на вершинах синих сопок, голубое движение воздуха, гонимого упругим ветром, серебряный ток рыбы, стройно идущей на единственный в ее жизни праздник любви и смерти. Видел, как учит охотиться мальша мать-медведица и как честно, в равной схватке добывает право вожака круторогий красавец-олень. Все это свершалось по извечным законам. Но кто же тот мудрец-законодатель? Почему он забыл о людях: невинных, беззащитных, обездоленных? За что расплачиваются они? За какой тяжкий грех? За чей?

Хирург давно осознал: эта расплата – есть Высшее Повеление. Он догадывался, за что расплата, и видел, чувствовал мир людей как нечто глубоко несовершенное, уродливое, чуждое мудрости природы и потому постоянно скорбел за весь человеческий род.

Нет, не все сгорело в пепел в его душе от собственных и виденных страданий, и Хирург иногда плакал одной единственной, имевшейся для утешения, слезой, посылая в неведомое пространство грустную надежду на пробуждение людского разума и духа.

В такие минуты, как малый огонь, затерянный в мировой чаше, Хирург, словно сжигал себя для всего человечества, как бы избавляя и очищая его от наносного, ненужного, заплесневелого, ржавого, и дерево добра вырастало из него, осыпая всю землю светоносными лепестками с цветущих веток.

Но Хирург не удерживал в себе мыслей, понимая, что мысли – это облака, которые уходят и приплывают. Это гости, что приходят и уходят. Нельзя уйти вместе с ними, потому что тогда можно стать их рабом. Можно в хороводе облаков потерять небо, которое и есть – чистый ум, который должен оставаться чистым всегда. Это Хирург знал точно.

Потом он снова трудился и наблюдал бурное течение времени, но снова, вспоминая людей, пользовался единственной полусухой слезой.

Так существовать было отрадно: ум и сердце точно находились рядом, в голубом воздухе, и их можно было время от времени трогать, как милые, близкие по жизни предметы, без чьего-либо постороннего вмешательства.

Но вот кончался летний сезон работ, и наступало унылое, долгое ожидание заработанных денег.

Сезонники сомнамбулическими тенями плавали в коридорах Управлений. Сидели на корточках вдоль стен. Нещадно чадили табаком. Гасили окурки о кумачовые стенды с фотографиями передовиков, спорили, ругались и проклинали все на свете: воловью работу, собачью жизнь, начальников, бухгалтеров, министров, правителей и медведицу-Дуньку, которая, как утверждали старожилы, раньше работала у старателей просто забавой, теперь же свободно гуляла по тайге, разоряя ежегодно то один, то другой стог косарей.

Многие сутки люди питались желтой слюной с прокуренных обвисших усов, продавали в поселке с себя вещи, чтобы согреть терпение спиртом и заглушить голод. В этом затяжном времяпрепровождении кое-кто терял равновесие, начинал производить дополнительный шум, ища соблюдения законности и элементарного уважения трудовых мозолей. Но то были, в основном, новички. Их, не получивших зарплаты, тут же загружали для экономии государственных средств в милицейские машины и отправляли, невзирая на доводы, в места более веселые – благо, на Колыме тюремные службы до сих пор на особой высоте.

Наконец, недели через три-четыре, измученный, отощавший, посеревший лицом народ приглашали к кассам.

Деньги были не то чтобы очень большие, но и не малые. В эту таежную страду Хирург и его бригада из двух, кроме бригадира, человек получила заработанное. Погода миловала – ни тебе ливней, ни засухи, словом, повезло. Был сначала в бригаде и четвертый – личность тихая, с виду почтенная.

Человек этот прибыл в тайгу в костюме, галстук, с портфелем, где у него хранилось аккуратно сложенное, несвежее белье, походная механическая бритва, затертое-перезатертое, – так что и прочесть трудно, – Евангелие и детская наивная игрушка – резиновый заяц. Косарь этот, именем Василий, сойдя в тайгу с вертолета, молча просидел целый день на пне, облокотясь на свой драгоценный портфель, как бы размышляя, кто он есть такой на белом свете, а к вечеру отправился за выяснением или от любопытства в дебри. С тех пор его никто не видел, хотя и посылали на поиски вертолетную команду. И вот сейчас Василий снова обнаружился у касс. Был он потрепан, худ, но в том же костюме и галстук и так же сидел в углу на какой-то ветхой коробке, облокотясь на свой дерматиновый портфель. Все также смотрел он с некоторым удивлением в пространство, словно спрашивал себя и окружающий мир: что из этой жизни может выйти.

Оказалось, Василий – странник, и к кассам его привел попутный интерес. Получать же ему было нечего. Хирург вытащил наугад из кармана денежную бумажку и подарил страннику, так как считал, что деньги не могут быть препятствием в части проявления добра. И прочие сезонники по примеру бригадира натолкали в портфель Василию кто сколько – пусть человек живет, путешествует и ищет ответы на тайные вопросы природы.

С первого же дня из-за своего повышенного интереса к философии, а точнее – к теософии, Василий немедленно приобрел кличку Гегель, и теперь люди, подарившие ему материальные средства, любопытствовали:

- Как же ты, Гегель, из тайги выскребся? Да еще в ночь тогда канул.
  - Тайга – обитель, – откровенно мудрил Василий. – А в обители и во мраке – свет.
  - Хм... О-би-тель, – напевно повторял вопрошатель, будто слышал это слово впервые.
  - А вроде позвал кто. Голос был.
  - Хм... Голос, – усмеялся сезонник и скреб коричневым кургузым пальцем под фуражкой. – То у тебя, видать, глютики были, а не голос. Ошивался четыре месяца где?
  - Сначала песцов харчевал одному буржую. Потом в Москву летал.
  - В Москву-у? На кой она тебе, Гегель, Москва?
  - Спросить.
  - Чего спросить?
  - Когда правда будет.
  - Ну, и спросил?
- Тут Василий сиял.
- А то... Спросил. А как же.
  - Ну?
  - Сказали – скоро.
  - Кто сказал?

– Один военный в Кремле, – не выдал Василий.

– А тебе-то, правда зачем?

Василий хмурился.

– Без правды род гибнет.

– Чего? Какой такой род?

– Какой, какой, – недовольно бурчал Василий. – Российский.

– Российский, – задумчиво произносил работник тайги. – Это что тебе, сыр?

– Сам ты сыр, – обижался Василий. – А насчет правды я еще в ООН написал. Пересуде

Куэльеру. Лично.

– Да, Гегель, – уважали Василия рабочие. – Видать, ты натуральный Гегель. Прописан-то где?

– Да где жа. На Колыме.

– И жена есть?

– Есть. Куда ей деться.

– Как же она тебя терпит? Ведь ты, Гегель, цыган.

– Она кроткая, – улыбался Василий. – Божественная женщина.

Сезонники полюбили Василия за то, что он дурачок, и пригласили отпраздновать с ними победу над сеном.

Праздновать решили в проверенном, не прохожем месте, в одинокой избе на берегу океана у Захара-полицая. В свое время Захара не расстреляли только за то, что он не зверствовал и даже умудрялся передавать кое-какие нужные сведения для подпольщиков. Однако в некоторых операциях не выдержал, поучаствовал поперек партизан. Потому в сорок шестом отправился на вечное поселение в колымскую, ледяную глушь. Тут Захар погоревал о проклятой войне и о своем, таком постыдном в ней участии. Но обжился. Зимой охотничал, летом подавался в рыбсовхоз. Была у него тут и жена, адыгейка, баба таежная, умелая, работающая. Ан вот взяла и ни с того ни с сего без всякого предупреждения померла. Так стал Захар на старости лет бобылем. К нему-то по давней дружбе и направлял Хирург свой праздничный отряд.

В пути выясилось, что пришлый Василий хромой на обе ноги. За свое всеядное влечение к правде и религии он, по его словам, в молодости отбывал кое-какой срок, нарвавшись на истинных марксистов. В лагере на философа обрушилось дерево, но благодаря счастливой звезде Василия, уклонилось чуть в сторону и пало только ему на ноги.

Хирург сразу определил дефект человека и взял с его плеч тяжелый рюкзак с провиантом и вином, позволив Василию нести менее громоздкие вещи плюс портфель с резиновым зайцем. Заяц, как обнаружилось, тоже являлся предметом идеализма, можно сказать, мистики, олицетворяя покорность и кротость. Но мистику Хирург почитал с давних пор за тайную энергию добра, так как сам, не имея инструментов, лечил лагерных больных одним желанием сердца, что целебным теплом стекало на страждущих с его изуродованных рук.

В ленинградской предвариловке Хирургу чуть было не вышибли мозги, отчего потом многое забылось. Он, Хирург, идя, тем не менее, окольным путем, по новой дороге, добрел до того, что есть на свете некая тайная музыка, которая сверху заряжает через позвоночную антенну одного человека, от того поет другому, от него третьему и дальше. И каждый пользуется этим неслышным хором как скрытым языком. Есть и тот, последний, кто тихо посылает мелодию обратно вверх, чтобы налить ее новой силой. Вот тогда, – понимал Хирург, – все происходит заново, и всякий человек, и все люди, согретые тайной музыкой, сплетены с ней, как цветы в венке. Жаль только, не все слышат ее, способную покоить и врачевать...

Вот этой ниспосланной рапсодией и действовал Хирург, что боевым скальпелем.

Из совхоза трое косарей и примкнувший Василий ехали на автобусе, который, как положено, опоздал минут на сорок. За это время сезонники успели хорошо пообедать, утешив, наконец, нервы и заполнив вакуум в желудке. В автобусе у них образовался один общий, брат-

ский ум и коллективная память, которой все трое и примкнувший Василий стали шумно пользоваться как орудием дружбы и симпатии. Остальной народ в машине был добровольный, старательский, закатившийся в большинстве своем из теплой Украины и потому – горячий, громкий и беседолюбивый. Все они были кто с мешком, кто с ящиком, где находились разные слесарные инструменты – то ли запчасти, то ли просто молотки-кувалды.

За окном начиналась метель. Белой пылью играла по обочинам поземка. Тяжелые сопки, обросшие редееющей к вершинам древесной шерстью, сидели, съезжившись, в снегу. А в автобусе было жарко, накурено и весело. Пахло бензином, овчиной, железом.

– Павло!

– Шо?

– А ну, отгадай загадку, – хитро приглашал своего товарища один щирый магаданец.

– Давай, – согласился тот.

– От-таке маленьке, пухнасте, хвост, четыре ноги, два уха и гавкае... Шо оно такое? Га?

– Тю... – удивленно выразился испытываемый, – та собака ж.

– Та ты, наверно, знав, паразит, – изумился затейник.

Этот человек, добротный, мордатый, в меховом полушубке, громко смеялся от своей шутки густым, раскатистым смехом, сдвинув для прохлады волчью шапку на затылок. И остальные его друзья солидарно радовались тому, что можно скрыть за чушью глубинную боль жизни.

Хирург поставил этому явлению диагноз – всепоощряемая глупость, явление, приобретенное в результате государственного уродства.

Нет, он не винил людей за поверхностный ум. Не было никакой тайны в том, что не от хорошей жизни сорвались они с родных вишневых, тополиных мест Украины и бросились в замороженную Колыму. Они хотели жить сегодня, а не в призрачном завтра; жить, работать, растить детей и не знать ущерба ни в чем. Они и работали, любя свою землю, с утра до ночи, а получали гроши, на которые и купить-то было нечего. Так и перебивались, томясь и мучаясь от тоски окружающего. Одни начинали любить вино, другие, уже не поднимая головы, тянули по унылому кругу свою лямку, третьи, плюнув и перекрестясь на все четыре стороны, подались на Север. Эти работяги не ведали толком ни собственной истории, ни любопытных наук, чего и добивался социализм, и только хваткий ум, выгода да еще доля рискованной удачи держали их в далекой колымской земле. Многие привыкали, прожив на Севере с десятков лет, и уже не могли вернуться в родные края.

Все это Хирург знал и сочувствовал неизвестным старателям теплым сердцем: «Бедолаги, прости, Господи. А что сделаешь – жизнь такая: дурнем легче. Дергай ручки бульдозера или крути баранку, а остальное – катись оно все к такой-то матери».

Правда, в своем деле приисковые рабочие были мастерами. А что не велось разговоров о душе, всеобщем благе – так кто в этом виноват?

В этот сенокосный сезон Хирург набрал в бригаду таких же бичей, каким был и сам. Внешне все они здорово походили на бродячих псов и запах имели соответствующий.

Один из собригадников в прошлом значился боцманом рыболовного судна, потому и кличку получил соразмерную – Боцман. Его списали на берег за кулачную расправу, которую тот учинил над замполитом корабля, застав политического командира в своей постели с собственной женой. Тогда судно стояло на ремонте. Боцман заступил на вахту, но сердце ныло, что-то чувствовало проклятое сердце, да и слухи шелестели по кораблю, и он попросил товарища подменить его на пару часов.

В тот вечер замполит успел удрать от остолбеневшего корабеля в окно – благо, был первый этаж. Жена, зная недюжинную силу мужа, в страхе выскочила следом. Боцман же – здоровенный детина с кулаками, похожими на амбарные замки – всю ночь просидел сиднем, тупо повторяя одну лишь фразу: «За что?» Он любил жену, хотел от нее детей, а вышло вон как.

На следующий день замполит сам вызвал боцмана к себе в каюту, чтобы, видимо, уладить как-нибудь конфликт по-хорошему. Боцман был человеком добрым, и он, было, уже принял извинения командира, простил его: бес попутал парня. Но замполит, обрадовавшись, что дело так легко замялось, перестарался, посоветовав боцману в окончание разговора выгнать жену к чертовой матери, раз она такая шлюха. Вот этого боцман стерпеть уже не мог. Он вытащил замполита на палубу и тут, на глазах у многих моряков, одним ударом совершил корабельному политработнику серьезное увечье головы. Боцмана списали, судили, и он вычеркнул из жизни пять муторных, тяжелых лет. На флот он больше не вернулся. Жена канула в пространство, наскоро продав причитающуюся ей половину дома, который боцман купил, когда они поженились. Продала каким-то свинарям. Те тут же развели на всем подворье чавкающее мясо, захватив под жилище для свиней боцманский сарай.

Вернувшись из заключения, боцман махнул на них рукой – делайте, что хотите: дома почти не бывал.

Пока он сидел в тюрьме, у него умерли мать с отцом, жившие под Калугой, и Боцман стал подобен ветру: один на весь белый свет, лети на все четыре стороны. Но из всех четырех сторон, куда можно было кинуть взгляд, Боцману милее была та, что располагалась в направлении океана. Там, между пучиной и небом, обжилось его сердце, а в перекатах волн и видениях дальних берегов пребывала душа.

Сейчас Боцман потерял из слуха веселых старателей. Он просто не мог их слушать: между озябших сопок вдруг показалась бухта с живой серою водой Охотского моря, а дальше, за горизонтом, – Боцман знал это памятью, – проживал огромный влажный организм могучего Океана, который испытывал моряков и кормил людей. Уж кому-кому, а Боцману была известна сила и строгий характер Океана, и за то старый моряк уважал и любил неоглядную гладь беспредельного моря, которое считал своей второй родиной. Ни одного дня не бывало оно одинаковым, и каждые сутки дышало по-разному, создавая очередную тайну природы. И эта постоянная новизна всегда поражала Боцмана, заставляя верить, что Океан – огромное живое существо с тяжелым и грозным нутром.

Иногда Боцману снилось, будто и он родился в океане, только в другом, но столь же мощном Океане под Калугой. Там он питался душистым ветром лугов, леса, пением птиц, криком петухов и сочувствием всему живому. Но зачем он покинул ту первую родину – одному Богу было известно.

– Эх, ма... – вздохнул Боцман вслух. – Какие ветры в тебя дуют, мать ты моя, Россия? – посочувствовал он всей окружающей земле.

– Какие надо, такие и дуют, – бесшабашно откликнулся нечаянный старатель. – Что у тебя, дядя, мыло во рту? Сидишь, как птица. Россию вспомнил. Россию вынесет. Не бойсь. Мне вон на той неделе жена письмо спустила. У них в детском саде, где она работает и сынок при ней, наводнение произошло. Представляешь ты, у них там, паразитов, ночью труба лопнула. Всех и залило к чертям в один час. Дети мокрые, а считай – зима на носу. Ну, слов нет. Пубивал бы к хренам тех слесарей. Представляешь ты, ну как с ними бороться? Зла не хватает. Женка пишет, Андрюха, сынок, воспаление грудей схватил. Ты представляешь, мать их...

– Они же, холеры, ремонт по десять лет не совершают, болт им в спину. Вот оно и... А как же, – посочувствовал еще один золотоискатель. – Не только труба, потолок рухнет.

– О то точно, – подтвердил мордатый. – Сидят в конторах, как умные Маши. Бумажки пишут, разговоры делают, а люди страдают. Ух, и ненавижу эту шваль. Покрутишься с ними – поневоле на Север утечешь.

– А ты где проживаешь? – поинтересовался у пострадавшего Василий.

– Какая разница, – почему-то обозлился на Василия золотодобытчик. – Везде одно и то же, – политически обобщил он. – Кругом одна труха. А ты – Россия...

– Дура ты подкильная, – беззлобно осерчал Боцман. – Вот это тебе и есть натуральная Россия, когда всем на все наплевать стало. На людей, на лес, на море, на все. За что боролись, на то и... Между прочим, на материке дома на тротуары валяются, террористы по стране гуляют. А ты тут в песке золотом роешься, все рубли хочешь сгрести.

– А ты-то что же не двигаешь в свою Россию? – совсем перестал веселиться старатель.

– Во-первых, не в свою, а в нашу, – резонно заметил Боцман. – А во-вторых, мне нельзя отсюда сдвигаться. Я тут скоро помирать начну.

– Чего тебе помирать? – вдруг включился Василий. – Вон ты мощный какой. Служить надо, – как-то официально-менторски определил он.

Боцман недоуменно посмотрел на него и почему-то вспомнил: осень, лиловый прыщ на щеке молоденького караульного, зеленый тюремный забор и – свобода...

Выйдя на волю, Боцман организовал в своей жизни такой порядок: с утра обычно работал либо в порту, либо на овощебазе, либо в каком другом месте, где государство как раз сильно нуждалось в таких оглушенных жизнью шаромыгах, платя им за тяжелый, в грязи и вони, труд гроши. Там Боцман, благодаря медвежьей силе, катал огромные бочки, таскал мешки, швырял ящики, сгребал зловонный мусор отходов, чтобы заработать на нехитрый ужин. Вечерами после работы он часто отправлялся на пустынный берег и начинал, глядя в океанский простор, долгую, единственно желанную трапезу забвения и грезы.

Имея в кармане волчий билет, Боцман посетил однажды отдел кадров пароходства. Его встретил какой-то новый, незнакомый человек с гранитным, неподвижным лицом. Изучив документы Боцмана, начкадров поднял на него холодные, враждебные глаза.

– Ну, и кем бы ты хотел? – спросил он, сверля старого моряка металлическим взглядом со своего гранитного лица.

– Боцманом, – сказал Боцман, уже понимая, что ему тут ничего не светит.

– Может, сразу капитаном? – поинтересовался распорядитель флотского состава.

Боцман устало посмотрел на специалиста по кадрам, чем-то сильно напоминавшего ему начальника тюрьмы и, отняв у него свои документы, не то риторически, не то обобщенно спросил:

– Сколько же вас, мудаков, на свете? А? Мама родная!

С тех пор он уверовал: будущее для него закрыто на замок. «Все. Баста, – сказал себе тогда Боцман, – отрезано и забыто».

Но то, что решил он забыть, как ни старался, забвению не давалось, ныло и болело. Трудно было смириться с тем, что, видимо, не придется уж больше пошататься по скользкой, уходящей из-под ног палубе среди воющей штормовой непрогляди. Не случится схлестнуться с ней, а, победив, ощутить себя заново рожденным. Конечно, остались друзья, морские волки, которые ради Боцмана прижали бы любого, кто помешал бы ему снова жить по-людски, но он был не из просящих о помощи. После визита в отдел кадров у Боцмана появилось ощущение, что он вообще весь заляпан дерьмом. Как мог он, гордый, свободный человек, войдя в кабинет этого каменного истукана, содрать с головы шапку и униженно попросить разрешения пройти к столу? Шапка – бог с ней. Но остальное – тон разговора, задушевный голос, переминание с ноги на ногу у стола... Как, когда его так переломили? Боцман презирал и ненавидел себя за это. Он ненавидел тюрьму, весь ее сатанински выхолощенный порядок и уклад, после которого люди выходят либо калеками, униженными, заглушенными, либо – уродами, способными на равнодушное убийство и насилие. Себя Боцман втайне считал душевным калекой и возврата к здоровым не видел. А кто мог определить степень его инвалидности и оплатить ее? Никто.

Поэтому, уединившись на берегу океана, он раскладывал на камне небогатый свой ужин и устремлялся сердцем туда, где крошечными игрушками то появлялись, то исчезали корабли. Под крик чаек и шум волн этот вид грел его душу. Боцман незаметно уплывал в другой, насто-

ящий мир любви, воспоминаний, где все было мило, все имело значение и высокий смысл. Хоть и обозначалось на языке Колымы самыми простыми и грубыми словами.

Была, правда, на берегу одна женщина – Настя, у которой Боцман иногда покупал водку, так как в последнее время с этим делом стало совсем туго. Что поделаешь – указ Горбачева. Правительство поменялось. Новое – решило быть трезвым и прекратить выпивки, желая личным примером показать народу, как существовать правильно. Народ же оставался разного отношения к сложившейся жизни. Иные пока не желали становиться как правительство в силу многих причин. Однако, раз «верха» осенила здоровая идея, унесшая жизнь дородных, долголетних виноградарей, то опустели винные магазины, отчего неожиданно повсюду возникли спекулянты, не боявшиеся никого и ничего. Спиртное поднялось на уровень основного дефицита.

Настя работала в ресторане, а потому проблем с водкой для нее не существовало. Боцмана она знала. Когда-то он был лучшим другом ее мужа, инспектора рыбоохраны, убитого в тайге три года назад неизвестно кем. Поэтому для Боцмана в любое время дня и ночи была припасена пара бутылок.

Сразу после работы Боцман, переодевшись в оставшуюся от старых времен приличную одежду, частенько отправлялся к Насте, получал спиртное по ресторанной цене – больше она никогда с него не брала, хотя откровенно приторговывала, – и дальше уже следовал на берег моря.

Однажды Настя пригласила Боцмана по старой памяти в гости, устроив что-то вроде вечеринки на двоих. Она жила одна в двухкомнатной квартире мужа, от коего сохранились лишь охотничье ружье, висевшее на гвозде в спальне, – теперь это была комната сына, – несколько рубашек из хорошего шелка, свадебный костюм. Его Настя иногда нюхала в минуты печали и тоски, не пытаясь сдерживать поминальные слезы. Рядом с задумчивым, хрипло поющим, когда его открывали, шифоньером с ее вещами, вещами мужа и сына, которого Настя недавно проводила в армию, висела семейная фотография в рост. Виктор, черноволосый, остроскулый и строгий, как ворон, Настя, совсем молоденькая в светлом платье, счастливо улыбающаяся, с тугой косой на груди и трехлетний сын Алешка, коротко стриженный, курносый, с игрушечным автоматом и сбитыми коленками.

Насытившись запахом мужа, наплакавшись и настрадавшись в теплой глубине памяти, Настя затем ритуально долго простаивала возле портретного слитка прошедшей жизни, уже спокойно вспоминая, что Алешка в тот день был простужен, соплив, что потом вернулись из фотоателье домой, уложили сына спать, а сами сели праздновать третью годовщину свадьбы. Выпили по рюмке коньяку и вдруг, не сговариваясь, лишь натолкнувшись друг на друга жадными глазами, сбросили с себя одежду прямо на пол и кинулись, как сумасшедшие, в прохладный постельный омут, в сладкий хмель любви, единственной и теперь несбыточной. Припомнив все до мельчайших подробностей, от рваного шрама на бедре Виктора – свидетельство одной из схваток с лесными бандитами, колючего подбородка, крепких мышц и деревянных ладоней, Настя обычно вздыхала и трогала маленькую трещину на стекле в правом верхнем углу портрета.

Таковыми были у нее моменты запредельного общения с любимым некогда человеком. Домой к себе Настя никого не водила. Боцман был первым, кого решила она пригласить.

Настя долго, с удовольствием стояла под душем, трогала полные, крепкие груди и радовалась, что они у нее не провисшие, как у напарницы Натальи, таскавшейся по всему Магадану неизвестно где и с кем.

Настя насухо вытерлась, повязала густые длинные волосы и подошла к зеркалу. Посвежее лицо было молодо и румяно. Глянцево блестел атласный лоб и, как свежая черника, тихо горели глаза. Яблочно налитые груди ее вершились упругими бледно-коричневыми сосками – их так любил целовать Виктор. Голубовато-мраморный живот не имел складок и стекал

книзу в плавные округлости бедер. Настя подумала, что в свои тридцать восемь она еще хороша – Бог не обидел, – что она еще может любить и быть любимой и что Петр, старый друг Виктора, которого она сейчас ждала, будет ее вторым мужем, а это красивое тело против зеркала станет принадлежать ему Сегодня же. В этом Настя не сомневалась. Она помнила, как Петр появился в их доме впервые. Его рук, его мягкого баса, всего его было так много, что казалось, комната состоит из одного Петра. Неуклюжий, неловкий, он сразу свалил дорогую вазу и потом не знал, куда себя деть, но добрее глаз и улыбки Настя не видела никогда ни у кого, даже у мужа. Она была спокойна и уверена в том, что даст счастье этому горемычному человеку.

Настя сняла с головы полотенце и стала расчесываться, как вдруг глаза ее словно обожгли два кричаще ярких седых волоса. Остро, пронзительно засквозило на сердце и, наспех выдернув седину, Настя какое-то время смотрела на две легкие серебряные нити, впервые так близко, так явно шептавшие ей о том, что не столь непогрешима и долговечна женская краса. Тем сильнее захотелось, чтобы скорее пришел Петр, но до его прихода оставался еще час.

Настя набросила густо-красный махровый халат, сделавший ее похожей на тропический цветок, и вышла из ванной. Цветок этот проплыл по комнате и застыл у балконной двери. За окном стояла густая морось. Растирая крем на руках, Настя смотрела в сторону, через балкон, вдаль улицы. По ней темными, мутными пятнами, как моллюски в аквариуме, нахохлившись, торопились по своим делам прохожие. И глядя на них, она, истосковавшись за долгое время одиночества, с нежностью представила, как придет Петр, промокший, озябший мужчина, пахнущий морем и табаком. Настя поможет ему снять сырую одежду и проводит в тепло, в уют.

А Боцман таскал в этот промозглый день мешки с луком на овощной базе, пропитанной тошнотворно-сладким запахом гнили, и все соображал, с чего это Насте приспичило звать его к себе на вечер – вроде бы и праздника никакого... Она так и сказала: «Приходи, проведем вечерок. Поужинаем». Сказала и прочно вогнала в Боцмана тревогу. Внутри у него стало так неуютно, словно он замарался какой-то ложью.

Боцман давно отвык от женщин, общения с ними, отвык от ласк, поцелуев, потаенных слов. Настя же напомнила ему даже не самим приглашением в гости, а каким-то едва уловимым наклоном головы, всплеском небрежно откинутых волос, особым теплом голоса, что существует некая, уже забытая Боцманом магнитная сила, имя которой – Женщина. И вот этой неожиданной, позабытой данности женщины Боцман откровенно испугался.

И после работы, в тяжелом предчувствии чего-то недоброго, Боцман поплелся к Насте, орошая всю улицу запахом лука и табака. Он не желал никак и ничем нарушить святость памяти друга и уж совсем не желал встреч с его (не приведи Господи!) оскорбленной им, Боцманом, душой. Этого он не допускал даже в мыслях, хотя когда-то – вдруг всплыло в памяти – Настя ему очень нравилась.

Боцман нес в подарок два одинаково важных в хозяйстве предмета – полмешка отборнейшего лука и апельсин, подаренный ему начальницей смены за то, что Боцман без подъемного крана поставил на место завалившийся контейнер.

Настя была в восторге, словно видела и лук, и апельсин впервые. Боцман от ее радости позабыл немного свои тревоги и потеплел. Но тут оказалось, что придется снимать сапоги, и его прошиб холодный пот: Боцман уже два дня спал в своей хибаре, не разуваясь.

Выручила Настя. Она повелительно затолкала Боцмана в ванную, наказав хорошенько прогреться в горячей воде. Боцман, куда деваться, разделся, отлепил от ног портянки и залез в ванну, которая была для него, что детский горшок. Кое-как устроившись, он открыл душ, намылился и ощутил под током теплой воды блаженство, какое испытывал когда-то после вахты на корабле.

Неожиданно вошла Настя, принесла, как старая жена, свежее белье. Деловито и привычно взглянула на Боцмана, словно это был не голый Боцман, а какой-нибудь привычный по жизни дубовый шкаф.

Боцман враз сник – ему стало ясно: он влип. Какое-то время Боцман тупо наблюдал утекающую, будто собственную жизнь, воду. Затем встал, вытерся и, не взглянув на чистое, намочил грязные портянки, оделся и вышел из ванной.

Настя встретила его в дорогом платье и золоте. Стол дразнил деликатесами. Была Настя красивая и жалкая. Она взглянула на Боцмана и с холодком в сердце догадалась: ни радости, ни счастья не будет. Боцман тоже провалился в вязкий сугроб тоски.

Они обреченно сели за стол, вспомнили Виктора, бывшего мужа Насти, и Боцман, обойдя приличия, вылил в себя фужер коньяка. Помолчали. Говорить Боцману было не о чем: не о тюрьме же рассказывать. О чем говорить? И так на душе хмарь одна.

– Я пошел, – вдруг сказал он, поднимаясь. – Спасибо тебе, сестра, – неожиданно вырвалось откуда-то изнутри. – Одна ты у меня осталась, и порушить нашу дружбу я не могу. Не имею права.

– Присядь, – жестко приказала Настя, не глядя на него. – Куда ты пойдешь? Причаливай, моряк, ко мне. Жизнь – дрянь. Счастья нет. Все лезут с грязными лапами. Тошно. Витя был хороший. За ним я цвела. Но нет его. У судьбы свои расчеты. Ты, Петя, тоже хороший. Я знаю. Остайся. Я еще тебе детей нарожу. Какие наши годы? Тебе сорок да мне тридцать восемь. Жизнь уходит, Петя. Живи у меня.

– Не могу, – сознался Боцман. – Витя как брат мне был.

– Витю не вернешь! – закричала Настя. – Как ты не можешь понять? Он там, а мы здесь. Нам жить полжизни. Ты здоровый, сильный мужик, я еще молодая, крепкая баба. Оставайся, Петя. Работу тебе приличную найдем – меня все знают. Ведь пропадешь, умрешь от водки, а горю не поможешь.

– Витя там, – повторил раздумчиво Боцман. – Но мы-то здесь. Как же будем потом в глаза ему смотреть? Что же я, тварь какая-нибудь, что ли? Погань последняя, а не человек? Совесть-то у меня есть, наверное.

– Какие глаза, – безнадежно махнула рукой Настя. – Что ты плетешь?

– Не обижайся, сестра, – нахмурился Петр. – Все равно у нас с тобой ничего не выйдет: я в тюрьме все себе отморозил. Якорь заржавел совсем. Женщина как таковая меня больше не интересуется.

– Якорь – ерунда, – грустно улыбнулась Настя. – Якорь твой я бы враз починила. Работал бы как часы. У меня бабка – цыганка была. Секреты помню. А вот совесть... Тут твоя правда. Совесть не купишь, не продашь. Раз Господь одарил – это навек.

Ах, судьба... Вот и просиживал Боцман на берегу океана, вспоминая всю свою переломленную пополам жизнь. Порой ему так явственно виделись и бушующее море, и корабль, на котором он отходил более тринадцати лет, и зависшая, надутая рыбным серебром, сеть, что Боцман вскакивал и кричал в неведомое пространство, словно был на палубе своего судна:

– Майнай трал! Осторожно, мать вашу! Не раскачивай, зелень подкильная! Держи! Держи, в бога душу!

При этом ветер распахивал полы его куртки, развеивал уже отросшую, хорошо тронутую сединой бороду, делая Боцмана похожим на зрителя всего океана.

Вот за этим вдохновенным занятием и застал однажды Боцмана Хирург.

Сам он брел берегом моря, чтобы слышать крики чаек, внимать запаху приближавшейся весны и глядеть поверх ледяного поля залива в синюю вечернюю даль, словно она могла поведать ему о чем-то сокровенном и осуществимом.

С утра Хирург трудился – собирал пустые бутылки, потом поел в забегаловке харчей – тарелку супа и порцию жидкой порошковой картошки с куском резиновой трески, и теперь от происходящего пищеварения душа у него работала хорошо и нежно. Кроме того, в карманах шинели остались еще на ночь краюха хлеба и банка кильки в сладком томате.

Из города он поспешил убраться, так как недремлющие милицейские машины сновали туда-сюда и в любой момент могли определить его как зловредного бродягу, несмотря на солидную, до пяток, шинель, подаренную как-то Хирургу одним бесшабашным залетным моряком.

Заезд в милицию грозил гражданину Дмитрию Александровичу Валову серьезными судебными осложнениями за пренебрежение к существующему в Магадане положению об обязательности прописки в пограничной зоне.

Хирург на эту зиму «прописал» себя в канализационной, тепловой люк под энергостанцией. Там, правда, не было необходимых удобств – света и прочего, зато имелись горячие трубы, возле которых можно было спокойно ночевать на одолженных у сторожа фуфайках, не боясь, что тебя выскребут милицейские работники, – а с ними разговор, конечно, короткий. Это Хирург знал хорошо и потому старался не попадаться им на глаза.

– За что судим? – задавался единообразный вопрос.

Но разве объяснишь – за что...

На ночь в гремящих, жестяных от мороза куртках влезала в канализацию еще пара мытарей с серыми морщинистыми лицами. Это были тихие, ночующие люди с черными, словно обугленными ногтями. Они спали прямо на трубах, накалявшихся к ночи, как утюги. Тогда мытари сползали на цементный пол и спали сидя на корточках.

Хирург, забывая о себе, смотрел на них и удивлялся: кому до этого народа есть дело? Кому? А ведь люди же!..

Питался Хирург редко. Порой ему хватало булки хлеба на неделю. Он клал ее вместо подушки под голову и спал, уверяя себя, что пища войдет в него через прикосновение и запах.

Как ядовитая змея, постоянно грозящая опасностью, проползла зима. И уже запахло весной, а с ней – не такой уж далекой свободой.

В конце весны бичи выползали из нор. Теперь их никто не трогал. Везде нужны были сезонные рабочие – в геологических партиях, в рыболовных товариществах, на таежном сенокосе, да мало ли где.

В это время толпы грязных, оборванных людей двигались колоннами к дверям разных контор и Управлений. Им не доставало только знамен.

Хирург предпочитал сенокос. Он как-то приспособился хватать своими культиками косу и орудовал ею не хуже, а то и лучше других. Так он трудился уже несколько лет, и даже вертолетчики, пролетая над таежными участками покосов, привычно говорили: «Подходим к Хирургу».

Сам же Хирург с нетерпением ждал этого времени и все чаще уходил к морю – посмотреть на Восток, скоро ли оно явится оттуда, время сезонного труда. Берег, как правило, был пустынным, лишь рыбаки, похожие издали на муравьев, носились вагагами по льду за косяками наваги и корюшки от лунки к лунке, наматывая с ладони на локоть длинные лески.

И вдруг – фигура на прибрежном валуне, командующая неизвестно чем.

– Аврал! На камбузе пожар! Все наверх, мать вашу! – извергал Боцман не своим голосом, воображая, видимо, какую-то роковую ситуацию.

Хирург присел позади корабела, восхищенный поэзией морской работы. Но «пожар» под напором зрителя моря был погашен, и командующий далеким матросами, утерев со лба пот рукавом бушлата, сполз с капитанского мостика. Обнаружив неожиданного человека в морской шинели, Боцман облизал пересохшие губы, поскольку уже вдоволь наорался после того, как спустил в трюм своего организма полкило водки, сплюнул от остолбенения и, наконец, пришел в себя.

– Братишка! – заревел он с новой силой, схватил Хирурга что куклу и стал, дыша спиртом, целовать прямо в губы.

Ноги у Хирурга висели над землей, а Боцман прижал неведомого человека к себе и все целовал, целовал его, как родного сына, исключительно, конечно, из-за морской шинели. Нако-

нец, он поставил Хирурга на каменистую почву и, улыбаясь во все свое бородатое лицо, прослезился.

– А ведь я тебя помню, – все больше любил Хирурга Боцман. – Мы с тобой на «Быстром» ходили. Капитан у нас еще Семенов был.

– Это я тебя помню, – вздохнул Хирург. – Мы с тобой под Сусуманом в одной зоне страдали. Правда, я уже досиживал, а тебя только приодели в казенку. Корпус у тебя заметный, вот ты на память и лег. Сейчас узнал. Тебя, кажется, Боцманом, что ли, звали.

– Точно, – помрачнел моряк. – Одно название осталось. А тебя-то как? Чегой-то не узнаю, прости. Дым в голове.

– Меня-то?.. – Хирург помолчал, подумав, кто он действительно такой есть на белом свете. – Меня Хирургом кликали. Тоже одно название, прости, Господи.

– Да, да, да, – просветлел памятью Боцман. – Обличье твое, видишь, истерлось, а может, и не видел я тебя никогда. Я там первое время вообще никого не видел. Сам знаешь... А вот рассказов о тебе слышал много. Как ты переломанными клешнями зеков спасал. Покажи клешни-то.

– Что я тебе, экспонат? – обиделся Хирург.

– Ладно, не сердчай, – повинулся Боцман. – Стакан держать можешь? У меня еще пузырь есть.

– А у меня килька в томате, – организовался Хирург. – И хлеба ломоть.

– Ну вот, – обрадовался Боцман. – Видишь, брат, мне тебя сам Бог послал. А то я одним сырым ветром закусываю. Да вот луковица была.

Боцман в два приема расковырял банку каким-то заточенным для вскрытия спиртного гвоздем, откупорил бутылку и протянул Хирургу стакан и, когда тот взял его, Боцман содрогнулся – кисть была расплющена, пальцы вывернуты, и непонятно – как, за счет чего они действовали. Боцман заскрипел зубами и налил Хирургу полный до края.

– Твари, – сказал он неизвестным палачам. – Разве можно так уродовать человека? За что?

Хирург, поевший пицци за неделю один раз, прожевал после водки пару килек, покачался немного, глядя, как начинают летать сопки, и лишь успел подумать, что, может быть, это весна поплыла с Востока, прекрасная, нежная весна.

Боцман поднял его, павшего на песок, усадил к себе на колени как дитя малое, отряхнул шинель и от бесконечного горя жизни бесслезно зарыдал одним горлом, глядя в застывшую, глубокую синь бухты.

В тот вечер, когда Хирург ушел от жизни в тихое беспмятство, Боцман малость покачал его на коленях для собственного успокоения, потом взвалил тюремного лекаря во всей его морской форме к себе на плечи – Хирург был вдвое легче портовых мешков – и не спеша двинулся домой.

Конечно, в таком навьюченном состоянии по городу Боцман пробраться не смог бы. Поэтому, дойдя до порта, он остановил пограничную машину и, указав на Хирургову шинель, объяснил, что сей морской пограничник по причине усталости от службы нуждается в немедленной доставке к месту проживания. Лейтенант, сидевший рядом с молоденьким водителем, почуял от Боцмана нетрезвый ветер и посочувствовал морскому охраннику границ, сказав: «Давай, кидай его взад, на корму».

Хирург очнулся в тихой незнакомой комнате на приличной кровати среди, как ему показалось, очень хорошей и даже пугающей обстановки. Здесь была та самая кровать, на которой царственно, под настоящим ватным одеялом возлежал Хирург, две табуретки, тумбочка, являвшаяся одновременно и столом, и газовая печка. То есть комфорт полный. Кроме того, на стене висела шикарная афиша, прочно прибитая ржавыми гвоздями. Афиша изображала

каких-то грузин с гитарами. В углу на стуле со спинкой стоял огромный, как собачья будка, старый телевизор с бархатным слоем пыли на экране. Все это было для Хирурга чем-то вроде московского «Метрополя».

У него нехорошо заныло под ложечкой: куда это занесла нелегкая?

И вдруг страшный ужас пронзил лекаря. Он понял, что на нем нет шинели. Хирург вскопчил, как от разрыва бомбы, но обнаружилось: шинель аккуратно висит позади кровати на качественном, прочном гвозде. От мгновенной усталости духа Хирург снова упал на постель, чтобы сердце вышло на ровный ход.

Было тихо, только со двора все время раздавались какие-то чавкающие звуки. Хирург встал и осторожно подкрался к окну. По истоптанной грязи подворья ходила и паслась какой-то дрянью из нескольких, выставленных в ряд корыт, толпа жирных, неторопливых свиней. Среди них возилась с ведром здоровенная, сама похожая на одну из чушек, тетка лет семнадцати.

Хирург вообще перестал что-либо понимать. Он трудно вспомнил, что встретил Боцмана, что они выпили на берегу, что он, Хирург, съел две кильки, что был синий вечер с далекими огнями кораблей. Но откуда взялась свинарня? Этого он понять не мог.

Слава богу, на тумбочке обнаружилась записка. «Пошел на работу Буду позже. Никуда не совайся. Харч промеж окон. Боцман. Смотри, не вылазь».

Хирург стал думать, успокаиваясь: до вечера далеко. Что бы ему такое сделать? Чем бы стратегически полезным заняться? Но ничего не придумал. Из «харча» имелся кусок сала, видно, соседского, и соленый огурец, так что готовить было нечего. Выходить из дома Хирург не помышлял, раз хорошим человеком никуда не велено «соватья». Тогда он лег на кровать и уснул до вечера, потому что не помнил, сколько лет назад нормально, по-человечески ночевал.

Вечером пришел с трудовой вахты Боцман.

– Ты тут, – обрадовался. – А я целый день боялся: не дай бог утечешь.

– Зачем? – сказал Хирург. – Записка ясная. Что ж я тебя подводить буду.

– Правильно, – сразу успокоился Боцман и кинул по привычке забрызганный рыбьей чешуей бушлат на газовую печку. Затем он смыл хозяйственным мылом с рук полведра мазута с сажей, умыл бороду и вытерся внутренней частью своего универсального бушлата. И расцвел.

– Порядок, – удовлетворился Боцман общим положением. – Давай будем рубать.

Из той же внутренности бушлата он извлек бумажный сверток, в котором оказалось килограмма два селедки.

– В порту сегодня был, – объяснил селедку Боцман. – Ребята дали. Говорят – бери ведро. Жалко, ведра нету. А то бы засолили.

Вдвоем они кое-как пожарили рыбу на сале и сели за тумбочку. Тут, во время ужина, Боцман и учинил Хирургу строжайший допрос, из которого выяснил его канализационное местожительство и кое-что в общих чертах из прошлой жизни. Хирург же в свою очередь тоже поведал о следователе кое-что в общих чертах, поскольку в здешней местности не принято было говорить о себе больше нужного, как бы ты человека ни возлюбил. Тут действовал закон особой мужской скромности.

– Так, – вынес приговор Боцман. – Будешь жить у меня. Мол, брат из Находки. Своим свинарям-соседям скажу, чтоб не цеплялись. И баста. Понял? А дальше видно будет. Может, я тебя официально пропишу, как какую-нибудь родственную личность.

До самой поры сезонных работ так и жили они по приказу Боцмана вместе.

Хирург похорошел, приосанился, даже между кожей и костью у него образовалась от постоянного питания легкая жировая прокладка. Весь этот период он тоже без дела не сидел.

Однажды Боцман привел с собой портового грузчика, здоровенного, краснолицего дядю, который внутри был калека. Много лет его жгла, точила и не давала жить язва желудка, и потому, хоть он и имел красивое мясистое лицо, но лик его был таким кислым, словно он навсегда объелся клюквой. Хирург усадил грузчика на собственную кровать и мягким, заду-

шевым голосом родного брата попросил поведать ему, какое жизненное неустройство испытывает пострадавший. Грузчик сгреб с головы шапку и открылся Хирургу, будто на исповеди.

– Тогда будешь делать все как, я скажу, – постановил Хирург. – Иначе катись к чертовой матери.

Грузчик недоуменно посмотрел на Боцмана, мол, не Христос ли это, но согласился.

– Ладно, – сказал Хирург. – Тащи свой матрац – станешь жить при мне три недели, чтоб я тебя видел глазами. Короче, я тебя тут госпитализирую. На работе бери отпуск или как ты там сможешь – твое дело.

Через три недели бывший калека, веселый и отощавший, так как Хирург не давал ему ничего есть и только поил медвяной водой да палил язву через культипки силой своего сердца, вышел на улицу и вдруг радостно подпрыгнул, напугав проходившую мимо старушку.

На следующий день грузчик отправился в поликлинику, где его давно знали как хронического больного. Врач посмотрела нутро пациента специальной японской камерой и удивленно спросила: «Вы чем лечились? Поразительно. Даже прежних рубцов нет». – «Ничем не лечился», – ехидно ответил здоровый грузчик, взял шапку и, выходя, хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка.

Вечером он принес Хирургу коньяку и денег. И немало денег, поскольку много лет доверялся врачам, а все, оказалось, без толку.

От такой материальной благодарности Хирург наотрез отказался, покрылся волнением и нечаянно взмахнул рукой, отчего вдруг ветхая его рубаха взяла и разошлась на спине от шеи до самого низа.

«Хорошо», – согласился грузчик, отметив неопровержимый факт негодности Хирурговой одежды. Забрал деньги, а коньяк оставил, сказав: «Хотите – пейте, хотите – бейте». И ушел.

На другой же день этот неугомонный грузчик принес Хирургу полное обмундирование, начиная от унтов и кончая лисьей шапкой, опять сказав: «Хочешь – выбрось, но это я тебе дарю от чистого сердца». И исчез теперь уже окончательно.

Делать нечего – пришлось Хирургу принять.

Дареную синтетическую шубу Хирург носить не стал, не изменив своей драгоценной шинели. В унтах, морском пальто с медными пуговицами и огромной огненно-рыжей лисьей шапке он сделался похожим на золотопромышленника-декадента. Некоторый народ оборачивался, чтобы запечатлеть необычное одеяние отставного, по всей видимости, моряка, а иная зоркая молодежь понимала Хирурга как новую моду. Милиция теперь подходит к нему опасалась. Хирург это сразу почувствовал и разгуливал по городу бесстрашным шагом.

Вслед за грузчиком явился согбенный рыбак, в обличье которого было полное нежелание жизни. Он принес Хирургу свой давний радикулит. Рыбака Хирург в стационар не положил, а велел являться на амбулаторное лечение. В первый же день Хирург раздел рыбака догола, вывел на мороз и окатил из ведра ледяной водой. Затем крепко растер его нутряным свиным жиром, который Боцман по приказу целителя попросил у соседей как лекарство. Потом Хирург положил рыбака на тощий матрац, расстеленный для жесткости прямо на полу, накрыл одеялом, оставив пустой лишь одну поясницу и начал ходить по ней босыми ногами, а после – толочь ее культипками.

Больной выл так, что во дворе пугались свиньи и прятались от рыбака в свинарник. Зато после жестоких экзекуций Хирург чуть отдалялся от страждущего, садился на колени и начинал колдовать руками над недужим местом, как бы давя на него через расплющенные, вывернутые пальцы неведомой силой. Тут измученный рыбак сразу засыпал, посапывая, будто ребенок.

Через десять дней повеселевший, полностью разогнутый работник моря, зная, что Хирург денег не берет, выволок из такси бочонок красной икры, заявив на яростные возраже-

ния лекаря: «Не ори. Видишь, сам нес через весь двор, целых тридцать метров. Значит, ты меня качественно починил. А назад я бочонок не попру. Хоть стреляй». Сел в машину и укатил.

Затем с визитом была полная дама лет тридцати. Может, сорока. У дамы где-то что-то «свербело», а где – она и сама не знала.

Хирург сразу поинтересовался ее личной жизнью, замужем ли она и как часто испытывает женские радости наедине с мужчиной.

Выяснилось: дама не замужем, но у нее есть жених, трудящийся на флоте, и потому, конечно, женские радости ей приходится испытывать нечасто. Тут посетительница уже прониклась к Хирургу доверием и созналась, что такое положение ее, откровенно говоря, не устраивает, и она беспокоится – не станет ли изменять будущему супругу вследствие сложившейся ненормальной ситуации, в то время как женские радости ей требуются чуть ли не каждый день.

Хирург задумался. Ему не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Где у дамы свербит, было понятно, но как ей помочь – он затруднялся. Однако недужная пациентка в порыве откровения донесла целителю, будто жених плюс ко всему не всегда ее удовлетворяет, и это обстоятельство неожиданно облегчило задачу.

Хирург тут же полюбопытствовал, в каком положении фигур строятся любовные отношения. Дама несколько смутилась, покраснела, высморкалась в надушенный платочек и, наконец, созналась, что ее суженный, хоть и моряк, но фантазией ума не отличается и норовит по праву мужчины расположиться всегда сверху, не понимая, что эту позицию, равно как и прочие, иногда не вредно уступить и женщине. Дама же – существо слабое и противиться не может, так как она приличного воспитания. Не дай бог работник моря что-нибудь заподозрит: все-таки, ей уже не двадцать.

Хирург сказал: «М-да-а...» и посоветовал даме отбросить всякий стыд как предрассудок, предаться с женихом самому вольному воображению и привлечь к этому плаванью любви непосредственно моряка, сделав его капитаном дальнего странствия. К сему Хирург добавил некоторое практическое руководство на случай обвалных штормов, грозных ливней или, напротив, полнейших, томительных штилей. Ну а в случае чего, Хирург посоветовал сослаться на рекомендации врача.

Дама удалилась со счастьем тайной надежды в глазах, не предложив ничего, кроме «мерси» и позволения снова явиться через некоторое время. Для консультации.

Хирург был доволен: хоть что-то сделал бескорыстно, однако, ложась спать, обнаружил под подушкой деньги. И немало денег.

– Ты бы мог миллионером стать не хуже моих свинаярей, – невпопад высказался Боцман.

Хирург помолчал и горестно вздохнул.

– Эх, Петя. Хороший ты человек, а тоже во тьме. Дурак, прости, Господи. Я вот и за тебя скоро возьмусь. Ты разве не видишь глазами: эти миллионеры... – Тут Хирург захлебывался от избытка ярости. – Это же все рабочие дьявола! Им нужно больше, больше, еще больше. Есть у них честь, совесть, человечность? Они бегут по головам и трупам, слепые и безмозглые. Бегут до первого поворота, за которым и встречная машина, и пуля в груди, и просто рак мозга или печени. Или смерть ребенка. За все придется отвечать, Петя. А ты говоришь – миллионером... Их только пожалеть можно. Да и то – нельзя, потому что в жалости есть осуждение. А кто мы такие – судить? Сатана берет их и машет зеленой бумажкой перед носом, и они цепляются, забывая, что Иисус говорил: «Если потеряешь себя, то достигнешь. Если будешь цепляться за себя, то потеряешь...»

– Ты это наблюдаешь? – показывал Хирург расплющенные руки. – Твои свинаяри животных на деньги переводят. А те... – Он заскрипел зубами и посмотрел в черное окно. – Те – людей... За власть. Вся Колыма костями, как горохом, засеяна.

– Это – правда, – согласился Боцман и тут же политически засомневался: – Но тогда получается, я плюралист, а ты нет.

– Шел бы ты к такой-то матери, – злился Хирург. – Где ты слово это дурацкое отковырял?  
– В газете. Где же еще, – сознался Боцман. – На обеде сижу, газету читаю, а тут начальник смены, Степан Семенович, сильно культурный человек: всегда «Огонек» под мышкой носит. Я его в лоб и спросил, мол, что за слово. Он мне сразу и растолковал. Это, говорит, когда и нашим, и вашим. Вот и выходит: значит, я – сука, а ты – прямой человек.  
– Молодец, хоть тут разобрался, – одобрил Хирург.

Так и прожили они в дружбе и общем согласии до теплых дней, до времени явления бичей из-под земли, как грибов. Настала пора сезонки, и Боцман сказал:

– Вообще-то я думал к рыбарям податься, но раз с твоими граблями сети не потаскаешь – пошли косить сено. Это тоже работа знакомая.

– Сволочь ты, – растрогался Хирург и обнял Боцмана. – А я все думаю, боюсь спросить, вдруг ты чего затеял со своим морем. Мне тут, сам видишь, опасно. Народ пошел валом. Отказаться я не могу. А участковый узнает – крышка. Пойдет Хирург опять эков лечить. Только я уж оттуда не выберусь. Властям разве чего докажешь? Не имеешь право на частную практику – и все тут. Опять же, прописки нет, да еще в погранзоне. Нужно мотать отсюда, куда глаза глядят. Хоть к тебе в Калугу, хоть ко мне в Питер. Сейчас перестройка. Такое время – везде всех за людей признают. Везде, только не тут.

При этих словах друга Боцман помрачнел.

– Нет, Дима, – признался он. – Я от моря не отвернусь. Весь я здесь. Оно во мне, море. Понимаешь? Проводить – провожу. Тебе, понятно, лететь нужно. А сам я... Ты уж прости.

– Ладно, – пресек Хирург душевную боль. – Заработаем денег, дальше видно будет.

Боцман посмотрел на Хирурга каким-то внимательно ласковым взглядом и вдруг спросил совершенно неожиданно:

– Слушай, Дима, тебе сколько лет?

Последовала немая пауза, в течение которой Боцман взирал на Хирурга как на некое нежное и в то же время туманное явление.

– Я, откровенно говоря, хотел поинтересоваться, – продолжил моряк, – да все неловко было. Иногда гляжу – тебе восемьдесят, не меньше. А иной раз, извини, конечно, ты – салага салагой. Ну, пятьдесят. Самое большое. Это как?

Хирург вздохнул. Он давно уже перестал обращать внимание на плывущие в бесконечность собственные годы. Большая их часть прокатилась как товарняк, оставляющий в душе лишь пыльный осадок и тоскливую сумятицу истрепанных чувств.

– Шестьдесят с хвостиком, Петя, – задумчиво сообщил Хирург, уставившись в одну точку – Порой кажется, что мне двести, триста, а то и все пятьсот. Что я старый, как остров Спафарьева. Но, видно, было и есть много такого времени, которое я, в силу своей судьбы, еще не прожил. Вот почему подчас меня как бы снова перебрасывает в молодость. На такой волне и живу, – грустно улыбнулся Хирург.

– Про что и разговор! – обрадовался Боцман. – Разве кто против? Живи, пожалуйста, – разрешил он.

...Автобус круто повернул, и пассажиров кинуло вбок, аж кувырнулся и загремел позади какой-то ящик с железом.

– Эй ты, косорукий! Ты что, дрова везешь? – взорвался еще один собригадник Хирурга – Борис. Он вообще имел свойство моментально воспламеняться. При этом вспыхивало все: глаза, щеки и даже губы, обрамленные легким, темным пушком. Восточное лицо его было красиво гордой, упрямой, но какой-то злой красотой. Он был четвертым в их бригаде. Хирург вдруг ясно вспомнил день их знакомства.

...У дверей Стройуправления, набиравшего, в основном, бродяжий народ на сенокос, стояли трое: Хирург, Боцман и странствующий Василий, который для дальнейших продвижений в пространстве Земли тоже нуждался в средствах, и он решил на время приостановить свое шествие по планете, прикрепясь для денег к какой-нибудь сенокосной бригаде.

Был май, но океан еще дышал холодом. Солнце ныряло из тучи в тучу, и налетавший порывами ветер развеивал пепельно-рыжее пламя бороды Боцмана.

Подходили к Хирургу и тот, и этот, но ни тот, ни этот не производили на бригадира впечатления людей, способных справиться со всем объемом тяжелых летних работ. И тут появился Борис. Он подошел самоуверенной, неспешной походкой человека, знающего себе цену. Модный черный плащ, белый шарф, аккуратная стрижка, твердый взгляд, крепкие плечи, на вид – лет двадцать пять.

– Мне сказали, ты бригадир, – обратился он к Хирургу – Я тот, кто тебе нужен. Вырос в деревне. Могу косить, таскать, стожить, баню поставлю. Избу, если надо, срублю, словом...

Хирург его взял. Сомнение мелькнуло лишь в том, что Борис был не из бичей, но анкета не требовалась, и потому взял. Бичи шли на сезонку от нужды и во спасение. А этот? Что-то тут было не то. Однако дело сделано.

...Океан исчез за поворотом, и Боцман задремал. Дремал так же путник Василий, склонив от усталости существования набок голову, самолично тронутую тупыми ножницами, отчего волосы его наталкивали на мысль о стригущем лишае. Обругав шофера, угомонился и разомлел Борис. Посапывали старатели. Лишь Хирург, несмотря на однообразное течение природы за окном автобуса, обрел какую-то нежную ясность воспоминаний. Целитель словно бы возвращался душою назад, в те благостные росистые утра пролетевшего таежного лета, когда солнце еще дремало за спинами замшелых сопок, а он и его ребята уже швыркали мокрыми ножами кос среди пахучей болотной травы. С каждой отсечкой зубчатая стена леса приближалась на один шаг, вспыхивала синим огнем гряда дальних гор, а грудь наполнялась густым свежим воздухом. Ранние птицы размывали темно-зеленые тени, дробили их тонкими хрустальными трелями. В то короткое время тяжести, покоя и влаги перед восходом солнца тугая волна неведомого, таинственно прекрасного плыла по всему окрестному миру, благословляя живущих на земле достойно встретить и достойно прожить каждый нарождавшийся день.

Перед тем, как взять в руки косу, Хирург обязательно возносил от сердца молитву, сочиненную им еще в лагере, улетал для приветствия и благословления к небесному Отцу сквозь неведомые миры и лишь затем, вернувшись, брал приготовленный заранее, отточенный, привычный инструмент.

Потом на местах покосов вырастали острые, позолоченные солнцем, копешки, стоявшие стройными рядами, как молодые солдаты. Эти жарко дышащие после просушки копны укладывали на две длинные жерди-волокуши, впрягались в них за неимением лошадей сами и тащили по кочкам, обливаясь потом, тяжелый груз к местам будущих стогов.

Работа, прямо скажем, была не из легких. Но Хирург вспоминал о ней с любовью и почтением. В лагере ему приходилось трудиться и бухгалтером, и учетчиком, и завскладом, что не требовало особого физического упорства, но тюремный труд, какой бы он ни был, не приносил памяти счастья и с нею не уживался. Напротив, таежная работа прочно откладывалась в сердце, как нечто дорогое и незабвенное.

Хирург вспомнил, как перед самым нерестом горбуши, когда обнаружился хищный, похожий по окрасу на тигра голец, неподалеку от их стоянки стала появляться счастливая, но строгая мамаша-медведица с веселым медвежонком, за всякую проказу лупившая свое чадо чисто по-человечьи – лапой по заднице.

Целитель выбирал время, когда медведица с малышом удалялись к речке на охоту, и относил к их лежбищу в стогу сена то сгушенку, то банку тушенки.

Иногда приходили лоси и смотрели на людей большими ореховыми глазами, таившими мудрость, спокойствие и осторожность.

Была у Хирурга и давняя подружка – черная белка, с которой он приятельствовал уже несколько лет, расставаясь лишь на долгую Колымскую зиму. Хирург дарил ей подарки: крупу, сахар, конфеты и разговаривал с нею, неумемно сновавшей с ветки на ветку, о ее, беличьей, и о своей собственной жизни. Сейчас эта живая память грела его сердце под дружный аккомпанемент храпевших старателей.

В автобусе жарко пахло бензином, металлом, вином и сигаретным дымом. Сопки что древние мамонты – медленно ползли одна за другой, утверждая неколебимость вечности. Сколько миллионолетий торчали они тут, на этой земле – одному Богу было ведомо. Но каким ветром нанесло сюда вселенскую пыль, осевшую в стылой Колымской земле в виде пустого праха тысяч людей, растаявших здесь без следа? Какой волной выкатило к подножьям сопки малые песчинки в образах Боцмана, Василия, его самого, Хирурга? А главное – зачем? Что явилось целью? Ведь просто так ничего не бывает.

Под лучами мыслей Хирурга покатые, стесанные пирамиды гор превращались, сохраняя очертания, в голубой дым, в котором он с интересом разглядывал некие причудливые очертания, таинственную материализацию памяти, где люди, события, даже медитация с прошлым и будущим обретали чудесную органическую плоть.

«Поразительно! – восхищался Хирург. – Посредством одного голого воображения можно сотворить целую Вселенную, вдохнуть в нее жизнь и затем наблюдать за нею, как, должно быть, сам Господь наблюдает за нами, созданными по его же подобию. Не эта ли та самая игра, которую затеял вселенский Мастер с нашей жизнью?»

Вот в бугристой толще синей сопки Хирург обнаружил Боцмана, большого бородатого увальня с доброй, непорочной душой, и ему стало тепло, как возле печки. Но за что Петру выпала такая тяжелая доля?

«Игра, – убеждался Хирург. – Игра. И смысл ее в испытании. Останешься ли чистым? Не запятнаешь ли себя чем-либо?»

...Путешественник-Василий понравился Хирургу своей откровенной смешной заумью и таким же забавным полубичевым походным видом – потертый, старый костюм, галстук, портфель, кирзачи.

Борис был крепок, молод, к тому же, как выяснилось, хоть и не сочеталось с его лощенной наружностью, из средневожских крестьян.

– Для справки, бригадир, – пояснил себя Борис, когда документы были оформлены. – Работал в кабаке, за стойкой. Ну и кого проводить... Всякое. Случилось – конец смены, клиент один стал выделываться: то ему не то, это не так. И глаз уже мутный. Я его за шкуру и на выход. Он в дверях уперся. Не ментов же мне звать. Словом, надо же было ему, дураку, виском в батарею. Потом «скорая», больница, следствие. В общем, мне посоветовали исчезнуть хотя бы на время. Не везет мне с дураками. Из дома вот так же покатыл. Треснул на танцах одного дурня – у того челюсть с петель и сотрясение, а мне бакланка. Весь трешник отмотал. Но больше как-то неохота к этим волкам. Век бы их не видеть. Да что тебе говорить. Ты сам-то, дядя, я гляжу, не хуже меня знаешь: по глазам заметно.

– Меня твоя биография не увлекает, – сказал Хирург, поняв, с кем имеет дело. – Главное, чтобы ты справился.

– Не дрейфь, бригадир. Работа знакомая. Силы – на двоих. Веришь, в зоне даже руки по косе сучали.

– Ладно, Боря, – поразмыслил Хирург. – Может, при нас еще и выровняешься. На ринг пойдешь работать, в крайнем случае, а не в казино.

Борис метнул колючий взгляд.

– Я сам решу, куда пойти.

Насчет деревни Борис сказал правду, но наполовину. В деревне у него жили дед с бабусей, и он в детстве на все лето отправлялся к ним. Там, с дедом, научился и косой водить, и коней пасти, и телят принимать и еще многое другое. Отец был русский – Дмитриев Николай, а мать – татарка, Нигматулина Саида, женщина по-восточному красивая до очевидной прелести, поэтому, когда во время второй беременности Саида чем-то таким женским заболела и при помощи неизвестной знахарки тихо померла, отец – Дмитриев Николай – сильно, без меры горевал. Работал он слесарем по ремонту автомобилей, так что деньги водились. И деньги эти отец употреблял на горе. Борьке в то время было шесть лет. Нет, в течение дня отец держался до того момента, пока не укладывал сына спать, а уж потом открывал шкафчик, где всегда стояло лекарство от беды да фотокарточка жены-покойницы.

Так сын рос, отец попивал, а время разводило их в разные стороны. Далее, по мере мужания сына, Дмитриев Николай мог уже позволить себе идти с работы на нетрезвых ногах. Отчего же – парень взрослеет, свои интересы. Ему-то, отцу, что одному делать? Дмитриев же Борис действительно вырослел и гулял по всей округе. Не было такого места, куда бы не распространилась его горячая натура, не было такого пацана, который не знал бы, не испытал на себе Борькины кулаки. Две стихии слились в нем – восток и запад – и дали ум, силу, хитрость, ловкость, талант, но и рвали его на части. Он мстил всем без исключения. Мальчишкам, девчонкам, учителям, старшим, младшим. Кошкам, собакам, воробьям и воронам. Мстил за смерть матери, за пьянство отца, за невозвратность деревни, за свое одиночество, за первую любовь, за упреки учителей, за дождь, пыль, град, гром и ветер. Душа его пребывала в постоянной странствующей тоске, ей было тесно в сильном теле; она росла быстрее его и потому все время рвалась, как рубаха не по росту, то в одном, то в другом месте.

Борис штопал ее скрытыми ночными слезами, далекими мечтами, рукопашными схватками и кровью.

Учился он легко, как бы в пересменке между шальными выходками, уличными боями и любовью, еще не сказанной, еще потаенной, но уже стучавшейся в нем, как сердце.

Его ежедневно одергивали, говоря, что он не смеет выделять среди сверстников ни ума, ни чувства, ни натуры, что учиться нужно по программе, а сверх этого – скорее плохо, чем хорошо. Тогда Борис уходил на улицу. Улица раскрепощала, ничего не требовала, давала свободу.

Любовь... Она кралась за ним по пятам. Борис убегал, уходил, улепетывал. Но она все равно настигла его и обрушилась сразу, внезапно, будто из-за угла. Любовь оказалась сильнее. Этого он пережить не мог и вышел к ней один на один. И проиграл.

Теперь кураж налился еще большей мстительностью за оскорбленное достоинство. Так и прокатились, прогремели, как колеса по мостовой, школа, техникум, тюрьма, ресторан, деньги, деньги... И вот – опасность нового срока.

Борис сразу забрал из ресторана документы и ушел «под воду».

...Автобус мерно покачивало, ровно урчало его железное нутро, и Боцману привиделось, что он на родном «Быстром» – отдыхает после вахты в собственной каюте. Он даже расплющил сонное око, желая проверить действительность, врет она или нет. Обнаружилось: врет, и Боцман, затворив глаз, снова погрузился в свой кубрик.

Начальник хозотдела Управления, формировавшего сенокосные кадры, имел спокойное, неподвижное имя – Мебель Эдуард Семенович и поперек имени буйную, штормовую энергию, про обладателей которой говорят: в попе шило.

Не в силах совладать с рабочей страстью, Мебель бросался от одного дела к другому, от того к третьему, четвертому, пятому, и так – изо дня в день. В результате полностью не выходило ни первого, ни последнего. Зато с утра до вечера он мелькал повсюду: в кабинете

директора, на складе, в траншее, мастерской, на подножке грузовика, на пожарной вышке, еще где-нибудь, где был не только не нужен, но даже вреден, так как всегда вносил лишь смуту и неразбериху. У Эдуарда Семеновича от постоянного лишнего движения и зуда в голове царил полный хаос. Отгрузки, погрузки, ремонт квартир, гвозди, бланки, скрепки, отчеты, доклады, жалобы, вопросы, ответы и многое другое одновременно варилось в государственном мозгу Мебеля, хотя на вид Эдуард Семенович ничего особенного собой не представлял. То есть, не имел какой-либо державной внешности, лишь средний рост, залысины, очки. Ну был бы это человек громадной величины, или владел боевым шрамом на лбу, на худой конец – гордился бы величественными густыми бровями, так нет же. Мебель и без всяких необходимых большому деятелю примет умудрялся тайно и явно разваливать все Управление.

Хирург по прежним годам знал все великие достоинства начальника АХО, поэтому на следующее после оформления документов утро вышел на середину хозяйственного двора, огляделся окрест и, завидев на одной из складских крыш мятущуюся фигуру со сверкающим на солнце стеклом, сразу направился туда.

Когда Хирургова бригада походила к складу, Мебель стоял к ней спиной, примеряя стекло к чердачному окну.

– Ну-ка гаркни ему, – сказал Хирург Боцману. – Семенычем зовут. А то я голос простудил.

Боцман «гаркнул», да так, что Мебель вздрогнул, словно его тронули электричеством, и выронил будущее окно себе под ноги.

– Слезай, – махнул рукой Хирург. – Потом подберешь. Разговор есть.

Эдуард Семенович, как человек интеллигентный, начальственный, поправил очки, галстук, отряхнул от стекла брюки и слез по лестнице вниз. Тут он сказал Боцману несколько непечатных выражений, которые сразу всем понравились, кроме блаженного Василия.

– Держи, – обязал Хирург и протянул Мебелю бутылочку с какой-то темной жидкостью. – Помню, тебя чирии всегда сзади грызли. Будешь мазать на ночь, как выскочат. Теперь к делу. Через неделю, я слышал, лететь. Значит, займись сегодня только нами. На твоей шее сенокос. Выдай, пожалуйста, продукты, все, что положено. Мы их свалим в какую-нибудь комнату под замок и будем спокойны за дальнейшую жизнь. А не то ты сейчас опять закатаешься порхать по крышам, как воробей, а нам, дурням, лови тебя, прыгуна, прости, Господи. Народ из-под земли на перестройку вышел, а ты, извини, как скакал по складам десять лет назад, так и теперь сигаешь, что горное животное. Никакого в тебе усовершенствования.

– Я рад, Хирург, снова видеть тебя на своем участке, – торжественно поприветствовал Эдуард Семенович Мебель народного лекаря. Спасибо тебе за снадобье. Смотри-ка, не забыл. Но вот что хочу сказать. Хоть ты, Хирург, и образованный, культурный бич, а не понимаешь, что если бы я не перемещался в воздушном пространстве отсюда туда и обратно, то в своем дерматиновом кабинете давно бы уже бросил кони. Верно, нет?

– Разумно, – согласился Хирург.

Высказав свое рассуждение, Мебель улыбнулся из-под толстых очков мелкими глазами. У него на лице-то и было, что очки, крутой нос и губки, словно у девушки.

– Все вещи в труде, – невпопад процитировал Василий и библейски оправдал вездесущую политику начальника: – Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, – прочитал он по памяти. – И нет ничего нового под солнцем.

Эдуард Семенович в тревоге снял очки и внимательно посмотрел на своего будущего сенокосчика, словно на Кольму приземлилось НЛО.

– Какая-то у тебя нынче межпланетная бригада, – сказал он Хирургу, обозрев теперь уже и Бориса, и Боцмана.

– У нас нынче духовный сенокос намечается, – пошутил Борис. – Вот отец Василий соблаговолил принять участие. Приезжай, Эдуард Семенович. Проповедь послушаешь. В церкви, поди, отродясь не был?

– Тут и храмов-то, на Колыме, днем с огнем не сыщешь, – посетовал Василий. – Вот где дьяволу раздолье. Тут уж он наигрался, наелся и напился.

Мебель снова опасливо посмотрел на путешественника Василия, поскреб пальцем стриженный затылок, но согласился уделить подопечным рабочий день, оставив на произвол свои драгоценные крыши.

У продуктового склада выстроились в очередь и другие сенокосные бригады исхудавших оптимистов. Хирурга они встретили гулом братского приветствия.

Продукты получали на весь сезон, на все короткое Колымское лето.

Хирург с Мебелем уселись проверять наличествующий провиант по амбарной книге. Боцман же, Василий и Борис приняла на себя тягловые обязанности – перетаскивать мешки с ящиками в личный, отведенный Эдуардом Семеновичем, сарай. Правда, Василий застрял на втором витке в чужой бригаде – попроповедовать, и вскоре вернулся уже не Василием, а Гегелем. Это имя-звание ему выдал один бродяга-философ, учившийся когда-то в Московском Университете. Остальные бичи поняли, что Гегель – это забавная кличка некоего чудного мудреца и одобрили новое звание Василия.

Небо в тот день распахнулось настезь и солнечной синевой напоминало опрокинутое ввысь море, подпираемое со всех сторон заснеженными верхушками сопков. Не хватало лишь криков чаек.

Боцман, обратив на это явление флотский взор, затосковал.

– Чуешь, Митрий, – окликнул своего нынешнего непосредственного начальника Боцман, – что-то мы с тобой давно на берег не ходили.

– Сегодня ходим, – пообещал Хирург. – Как раз Ивана полечим и ходим.

Иван был таежным пожарным и страдал геморроем. Эти данные Хирург с Боцманом получили нечаянно от самого больного, находясь в пивном баре.

Хирург любил тайгу, и ему нравилось, что существуют люди, которые ради ее спасения могут кидаться с вертолета в огонь вниз головой. И он взялся помочь герою, тут же вытолкав его в шею из пивнушки и запретив вообще в ближайший месяц прикасаться к спиртному. «А лучше забудь про это навсегда», – добавил он.

Забудь навсегда Иван отказался, но воздержаться от алкоголя месяц сподобился потерпеть.

Только к вечеру бригады получили продукты и необходимый инструмент. Могли бы справиться и раньше, однако Мебель, терзаемый внутренними бурными реакциями, вдруг вскакивал, бежал куда-то за лопатами, косами и топорами. Но на полпути решал, что нужно проверить, как протекает ремонт водопровода, прибыла ли машина с шифером, а если прибыла, то идет ли разгрузка, объявился ли рабочий Фокин, которому два дня назад на ногу упал станок, и много других мыслей выстреливало в неумном мозгу Эдуарда Семеновича в сторону от сенокосчика. Те в долгие часы отсутствия Мебеля сидели на ящиках у склада, изводили табак и нещадно крыли начальника. Эти люди, измученные безалаберным существованием и бездельем, уже не могли дожидаться вылета в тайгу. В который раз они мечтали начать новую жизнь среди лесной тиши и покоя, чтобы потом, окрепнув нервами, телом и финансами, вырваться все же из-под земли наружу и стать такими же, как все, нормальными, не хуже, а может быть, и лучше других. Но вот появился Мебель и, пропустив мимо ушей рокот гнева, как ни в чем не бывало, снова начинал выдавать продукты, потом опять куда-то срывался – и так целый день.

– Баламут, – беззлобно определил Эдуарда Семеновича Боцман. – Я бы за это время уже червонец где-нибудь на ужин уцепил.

– Про что и разговор, – скупающе отозвался Хирург.

К вечеру день постарел и начал закрываться от света тяжелой, седой тучей. Дохнуло холодом, и весна вмиг была проглочена неожиданно налетевшим, пронизывающим ветром. Это еще больше злило сезонников.

– Все, – подхватился Борис. – Не могу больше, мужики. Пойду, а то я сейчас нашему Мебелю очки расплющу. Нельзя мне на новый скандал нарываться. Пойду. Вы уж как-нибудь без меня доберете, что нужно. – Сказал и вскоре скрылся за воротами.

– У него внутри какой-то червяк проживает, – догадался Боцман.

– Досада в детстве была, – определил Хирург. – Злой он на весь мир. Это тяжелая болезнь.

– Томление духа, – классифицировал Василий. – К тому же кровь густая. Видишь ты, какая Атлантида у человека.

Эдуард Семенович явился в тот момент, когда у склада стоял уже зубовный скрежет. Зато в руках он нес ведомость, а в кармане – каждому мелкое денежное вспоможение. Народ сразу потеплел и «трухлявый Мебель» стал нежно именоваться Семенычем.

– Это на конверты, нитки и носки, – дал установку Эдуард Семенович, вручая хрустящие купюры.

Получившие аванс срывались, как со старта, на полную дистанцию до самых дверей винного магазина. Гегелю тоже хотелось рвануть за всеми, но его новые друзья – Хирург с Боцманом – никуда не торопились.

– А вы что же? – поинтересовался проповедник. – Разговеться не желаете?

– Желать-то мы, конечно, желаем, – признался Хирург. – Но опасаемся: Господь накажет.

Гегель поковырял сапогом землю и неуверенно сообщил:

– Сирых Господь наказывать не должен.

– Точно не должен? – проверил Боцман.

– Не должен, – робко подтвердил Василий.

– Ну, тогда разговеемся, – согласился Хирург. – Только ты, Вася, не стремись никуда, шагом иди. Для нас с Боцманом отдельная торговля работает. Так что не трепещи. Успеем.

Втроем они заехали домой, где их ждал Иван. Хирург попросил Боцмана с Гегелем покурить в свинарнике. Сам же тщательно исследовал нижнее заболевание пожарного – геморрой – и дал ему практические рекомендации, весьма отличавшиеся от тех, которые таежный солдат получал раньше. Пожарный даже слегка посомневался, можно ли методом Хирурга излечить болезнь. Но тот сказал: «Делай и не мычи. А будешь мычать – ходи в поликлинику до самой смерти». И велел явиться через неделю, так как потом целых четыре месяца он, Хирург, будет проживать в тайге, а с заболеванием к этому времени желательно покончить.

– Ладно, – убедился пожарный. – Я тебе верю почему-то. Ты – людей, мы – лес лечим. Считаю – одно дело. На-ка вот. Закусите с Боцманом за мое здоровье, – сказал он и положил на тумбочку пожарный мешочек. – Тама лосятинка вяленая, рыбех пара. Словом, так... закуска.

Хирург уже понял: с этим народом спорить бесполезно. Слава богу, Иван денег не совал. И на том спасибо. В лагере за бескорыстную помощь Хирурга просто уважали и ревниво берегли, делились сахаром, чаем, табаком. На воле же люди благодарили от щедрот, и тогда старому лекарю его работа казалась кощунственной, особенно когда за нее деньги предлагали. Тут у Хирурга набухали нервы и больно щемило сердце. Он отчего-то внушил себе или так было на самом деле, что за любое благое деяние люди должны получать ровно столько, чтобы существовать и совершать свою работу дальше. А что сверх того – гной и гибель духа. А с ними и тела, и человека.

... Дорога пошла вверх, на изгиб сопки. Водитель переключил скорость, и мотор, вздохнув, рванул вперед с новой силой ровной натуги. Обернутая пеленою метели, машина осторожно пробиралась к перевалу.

Старатели с сенокосчиками спали, словно казаки после сечи. Хирург разомлел от тепла, но мысли текли ясные, чистые, теплые.

Хирург думал о том, что наконец-то возьмет билет на самолет и унесется в другой мир совсем иной жизни, жизни, которую считал уже навечно потерянной, запредельной и несбыточной. Там были его детство, юность, любовь, слава. Туда должен был явиться он со всем своим знанием мира, людей, со всем своим нажитым грузом, рожденным из долгих страданий и мук. Кроме того, где-то в том далеком мире был его сын, не однажды приходивший к Хирургу во сне, и повстречать сына, заглянуть в его глаза было чуть ли не последней мечтой Дмитрия Валова. Словно в глазах сына он мог увидеть самого Бога. Хирург вдруг ясно вспомнил жену свою, как некую горячую звезду, и свет ее через воображение согрел его сердце нежной, щемящей тоской.

Впрочем, Хирург мало обольщался, полагая, что в том дальнем мире вряд ли кто ждет его и бросится навстречу с распростертыми объятьями. Но думать об этом и мечтать было хорошо, несмотря на любой исход возвращения.

Может случиться, его и не примут вовсе, рассуждал Хирург. Что он такое для той жизни? Высохший лист, брошенный ветром в чужое окно, письмо, пришедшее не по адресу, и уж, конечно, не лебедь среди зимы.

Но верить в чудо хотелось. Хирург вообще научился верить в чудо, которое, по его отчаянно убежденному мнению, может быть тайно даровано человеку в знак поощрения чистой жизни при общей гематоме судьбы.

Разве не чудом было, что, спасая чью-то жизнь, он столько раз за все свои бесконечные годы выходил на битву со смертью с голыми, да еще увечными руками, и в большинстве случаев – побеждал.

Хирург без ножа рассекал гнойные раны и без иглы зашивал их, вправлял суставы и сращивал кости, заживлял язвы и выводил из комы, останавливал удушье и боль сердца. Кто наделил его такой способностью – Хирург догадывался. С некоторых пор он уверовал: ни одно доброе деяние не остается без щедрой награды, равно как и любое злое воздается сторицей. Ему ниспослано было особое зрение, и однажды Хирург понял это, словно увидел молнию среди ясного неба.

Было седьмое ноября тысяча девятьсот очередного невероятно долгого и страшного года. Стоял солнечный морозный день. Снег возле барачков, утопанный ногами эжов, звонко повизгивал под сапогами начальника лагеря и его свиты. Жирные вороны сидели на черных нитях колючки, время от времени стряхивая в воздух серебряную пыль. Морозным белым войлоком был покрыт сигнальный рельс, подвешенный на толстой заиндевевшей проволоке.

Начальник лагеря шел вдоль строя заключенных в сопровождении двух вспомогательных службистов, глядел с хмельной поволокой в глазах на обнаженные по поводу праздника стриженные головы.

«Хозяин» не испытывал к подвластному ему серому человеческому материалу никаких чувств. Он просто совершал ритуальный, праздничный обход, потому что так было положено.

У заключенных в честь седьмого ноября был выходной, и они терпеливо мерзли, ожидая, когда, наконец, кончится эта официальная чушь.

Ночью начальника доносили сильные боли внизу живота и в пояснице, но к утру немного утихли. Сейчас, после стакана водки, рези исчезли совсем. «Хозяин» с благодушным бесстрастием пропускал сквозь взгляд худые изможденные лица и думал, что часа через два приедет к нему в гости старый друг, полковник Величко, офицер соседней воинской части, привезет

жену и подростка-сына. Они двумя семьями сядут за стол и по-человечески отпразднуют день рождения великой Страны Советов.

Хирург чувствовал, как немеют у него пальцы ног, деревенеют обмороженные уши, но горя по этому поводу не испытывал: привык. Его беспокоил стоявший рядом доходяга Ильин. Он был из тех, кто в какой-то момент не выдерживают и сдаются, и тогда силы вытекают из них, как через пробоину. К тому же Ильина донимал жестокий радикулит, и Хирург понял, что у него сейчас могут отказать ноги. Ильин, напрягаясь изо всех сил, тихо постанывал и скрипел зубами. Ему и переминаясь с ноги на ногу нельзя было, так как любое перемещение отдавало болью в пояснице, поэтому Ильин, окончательно застыв в долготерпении, держался за жизнь одним лишь святым духом, который в последние месяцы, как видно, жалел бедолагу и все сомневался выпорхнуть из него в пространство. Хирург тоже сочувствовал горемычному Ильину и положил ему на больную спину свою заледеневшую руку, чтобы послать по ней лечебное электричество – пусть Ильин согрется и досуществует до своей лежанки.

Но то ли рука у Хирурга была слишком холодной, то ли Ильин уже выработал свой жизненный запас, потому что в момент, когда «Хозяин» поравнялся с ним, Ильин вдруг рухнул в самые ноги начальника лагеря, заголив кончик торчавшей из валенка алюминиевой ложки.

«Хозяин» брезгливо вытащил из-под заключенного начищенный сапог и раздосадовано приказал: «Встать!»

Ильин немощно зашевелился, завозил локтями, пытаясь подняться на колени, и сильнее оголил торчавшую из сапога алюминиевую ложку.

– Он болен, – сказал Хирург и посмотрел в пустые, запорошенные желтизной собственной болезни, глаза начальника лагеря. – Его срочно в санчасть нужно.

Ильин употребил последние усилия и мертво распластался на снегу.

– Убрать, – равнодушно и как бы даже разочарованно приказал начальник лагеря подчиненным, – в шестой барак.

Шестым баракom был неотопливаемый сарай, куда складывали до захоронения мертвых.

– Тут каждый лично решает: жить ему дальше или нет, – добавил «Хозяин», глядя на Хирурга.

Вспомогательные службисты бодро, празднично кликнули конвойных и те, ловко подхватив Ильина, быстро потащили его прочь.

Сутулый ворон вспорол тишину жестяным криком и слетел с ограды, стряхнув целое облако искрящейся морозной пыли.

– Вот так, – щурясь от солнца, задумчиво произнес начальник лагеря. Он спокойно наблюдал, как тащат конвоиры ненужное больше никому тело человека. – Каждый живет столько, сколько хочет.

Хирург ощутил противный озноб, какой всегда испытывал, когда не мог повлиять на жестокие явления жизни. Его снова, в который раз, опалила жаркая горечь, что все не так совершается в мире. Не так! Кто дал право этому обрюзгшему майору с провисшими веками глаз судить и выносить приговор больному, но не безнадежному еще человеку? Кто позволил «Хозяину» быть хозяином чужой судьбы?

«Мразь. Подонок и мразь», – подумал Хирург и снова заглянул в лицо начальника лагеря. И вдруг поразился тому, что он все знает о нем. И не столько об извивах его прошлой жизни, карьере, прошитой суконными нитками предательств, жестокости и лжи, – хотя все это тоже мгновенно промелькнуло перед Хирургом, – сколько о его физическом состоянии. Хирург, потрясенный, увидел каким-то новым, необычным зрением, что «Хозяин» болен страшной и уже неизлечимой в данных условиях болезнью почки – пиелонефритом. В глазах начальника он прочел, что жить ему осталось считанные дни. Хирург невольно стал опускать взгляд вниз, вдоль тела «Хозяина», и оно разошлось, как под скальпелем, обнажив поросшие жиром ткани и

отворив больную почку с двумя крупными, неправильной формы зеленовато-опаловыми камнями, один из которых прочно закрыл мочеточник.

– Вот так, – повторил «разрезанный» Хиругом начальник лагеря. – Каждый живет, сколько хочет.

Заключенные понуро молчали, удрученные происшедшим с Ильиным, напомнившим, что жизнь тут не стоит ломаного гроша.

И тогда Хирург произнес чьим-то чужим, неведомым голосом:

– Тебе самому осталось ровно три дня.

Раздвоенный «Хозяин» медленно склеился и вонзил в Хирурга ржавые от болезни глаза.

– Это что, бунт? – процедил начальник лагеря.

Снова дико заорал ворон и взмахнул крыльями на крыше одного из барачков.

– Во-о, – показал жестом Хирург, привыкший к немногословному, и натуральному обращению и постучал кривым кулаком по своей стриженной голове. – Кровью мочился? – спросил он склеенного начальника и, видя по выражению ошарашенных глаз, что угадал, окончательно заключил: – Три дня осталось. А может, и того меньше: водка свое сделает.

– В изолятор! – заревел начальник лагеря. – На полную катушку!

Конвойный оторвал Хирурга от строя, как кору от дерева, потащил в одиночку, и Хирург, перебирая занемевшими ногами, волочился за ним, что тряпичная кукла.

«Хозяин» смотрел на второго за сегодняшний день отверженного и ощущал, как противный, панический страх наполняет его, будто едкий дым. Действительно, ночью он испугался того, что пошла черная моча. Были так же и схватки, от которых хотелось залезть куда-нибудь по стене сквозь потолок, но утром все кончилось, и он блаженно заснул. А уж когда принял ради праздника стакан вкусной брусничной водки – и вовсе забыл о мучительной боли, благо, не знал никогда никаких болячек. Стало быть, съел чего-нибудь, вот и болело. Но кровь! Откуда этот лепило знал о крови?

«Хозяин», конечно, располагал сведениями о самодеятельном лекаре, но всерьез их не принимал. Колдует – ну и черт с ним. Лагерь кому хочешь голову сдвинет. За десять лет работы он, слава богу, нагляделся. Кого здесь только не было. Одно слово – сволочь, не желавшая жить по заветам вождя.

Среди них, правда, встречались такие, перед кем терялся даже «Хозяин». Рассуждения некоторых смельчаков из той массы, которая пополняла лагерь, о чести, свободе, вере повергали его порою в задумчивость, но служба заставляла начальника лагеря стряхивать с себя ненужный, вредный мусор, и он снова возвращался из опасных умственных путешествий к своей размеренной жизни целым и невредимым. Охота, рыбалка, семья, а люди за колючей проволокой – преступники, враги народа, и весь разговор. Ему случалось участвовать и в расстрелах – такая работа. Иначе нельзя. Есть закон, защищающий народ. А он кто? Слуга и закона, и народа.

И вот какой-то преступник сулит ему смерть. Ему, потомственному трудяге, сыну деревенского бедняка, коммунисту с девятнадцати лет, офицеру внутренних войск. Три дня!

Начальник лагеря хотел было двинуть равнодушно смотревшего на него зэка с торчащими в разные стороны костями скул, двинуть так, чтобы брызнула по сторонам кровь с этого отвратительного лица с оттопыренными ушами, но гаркнувший еще раз над самой головой ворон заставил его вздрогнуть. «Хозяин» грубо выругался и пошел прочь. Праздник был испорчен.

Хирурга, содрав с него ватник, конвоиры затолкали в холодную одиночную камеру, где можно было только стоять да неуклюже сидеть на корточках. Грубые пупырчатые стены этого каменного хранилища были покрыты зеленоватой наледью, освещенной отвратительным желтым светом тусклой, не выключавшейся лампочки.

Хирург не имел в себе ни злости, ни страха, поняв, что ему предстоит очередное испытание. Он лишь подумал, а затем и представил себе беднягу-Ильина, лежащего среди трупов, его белое, обнесенное инеем лицо в легком пару последнего дыхания. Хирург посмотрел вверх, сквозь серый потолок, и попросил Господа приютить горемычную душу товарища, дать ей покой и вечную свободу. Затем он закрыл глаза и окунулся в долгую глубокую молитву, совершая таинство высокой беседы. Тут он доверял Богу всего себя без остатка, отряхивал пыль озлобленности, досады, горечи и внимал голосу, ровно идущему из запредельного далека. Господь открывал ему суть истины, которая заключалась в любви, а стало быть, в милосердии и прощении. Хирург, не беспокоясь больше о теле, оставлял его, как одежду, перед погружением в теплую воду.

Тело теперь не терзалось ни холодом, ни голодом, ни звуками скребущихся и что-то постоянно грызущих крыс, ни печалью, ни болями.

Такую хитрость тайного исчезновения Хирург практиковал давно, переняв многие мудрости от одного славянина, прибывшего на Колыму из Астрахани, где он был задержан на пути из Тибета в Киев за распространение зловредных учений о душе и некоторых фантастических свойствах нематериального мира. Славянин сей, именем Виктор, гостил в лагере недолго, так как сильно горевал, что его слишком отодвинули от престольного града Киева и лишили встречи со святыми мощами в Печорской лавре. Был он силен и могуч, как былинный воин Илья Муромец, с одним лишь дефектом – не имел второго глаза, который ему случайно выбили когда-то в Астраханском НКВД. Однако это не помешало Виктору, посеяв в Хирурге зерна запретных знаний о незримых энергиях и возможностях человеческого духа при общении с Богом, однажды удалиться сквозь Колыму и кордоны в направлении древней столицы славян.

После встречи с Виктором Хирург стал смотреть на многие вещи совсем иначе, нежели этому учили марксисты-дарвинисты, и начал упражняться в духовном соединении с Богом и людьми. С людьми получалось поначалу неважно и редко, поскольку не многие были подготовлены к таким разговорам. Да и некогда было. А вот с Богом!.. Тут Хирург постепенно достиг большого совершенства. Он и людей выучился понимать и видеть лучше рентгеновского аппарата даже безо всяких предварительных переговоров.

Сейчас Хирургу предстояло вытерпеть пятнадцать дней, то есть, как назначил «Хозяин» – «полную катушку». Обычному человеку такая перспектива радости не приносила. Многим она стоила здоровья, рассудка, а иным и жизни.

Хирург же, имея вольное мышление, не однажды посещал карцер БУРа, но на удивление выходил оттуда в целостности и сохранности, чем немало радовал заключенных и внушал лагерному начальству опасливое почтение.

В этот раз Хирург отдыхал от тела ровно день. Когда конвойный загремел ключами, эск Дмтрий Валов путешествовал в заоблачных, никому неведомых далях.

– Бегом собирайся и до «кума», – уведомил рябой военный с заспанным мятым лицом и бросил Хирургу в руки отобранный ранее бушлат.

Хирург сидел на дощатых нарах кондея, которые откидывались на ночь, скрестив валенки ступнями под себя, колени врозь, как сиживал, бывало, тибетский Виктор. Лежать было невозможно: холод мгновенно заползал под тощую одежду, вылизывал кости до бешеной дрожи в теле. Хирург это знал и потому ночевал сидя, как свечка. Он убедился, что в таком положении стынь его не проймет, и холод действительно обходил Хирурга стороной, въедался зеленоватой наледью в стены, вылеживался до серой седины в углах цементного пола, высасывал последнее тепло из слепой, не выключавшейся лампочки.

– Шевелись. Чего сидишь? – удивился солдат.

Хирург только сейчас почувствовал, что вовсе остыл, одеревенели ноги, а руки стали чужими. Он встал и встряхнулся. Ничего, все в норме.

– Швидше, швидше, – поторопил нестрогий ключник и зевнул долгим, толстым звуком, что тюленем скользнул по голому колодцу камеры и уполз вдоль гулкого коридора. В коридоре пахло мочой и мокрым цементом.

Хирург кое-как натянул замасленный бушлат, просунув негнущиеся руки в дыры рукавов, потрогал остаток трехсотграммовой пайки в потайном кармане фуфайки и подпоясался долгой веревочкой. Тело еще действовало отдельно от него, а душа неохотно и медленно просачивалась в лекаря, будто в замерзшую лунку.

Он еще не мог сообразить, как долго торчал в карцере. Судя по куску хлеба в триста граммов, который принесли один раз – это Хирург помнил – прошло меньше суток. «Чего им нужно?» – спросил Хирург самого себя. Но тут вдруг сознание, находившееся во временном отпуске, прочно улеглось на свое место, и Хирург ясно понял, зачем вызывает его к себе «кум».

На выходе из БУРа рябой военный надзиратель передал Хирурга другому конвоиру, который грелся на КПП в полушубке и серой со звездой шапке, завязанной на подбородке двумя черными шнурками. Тут же сидел, развалясь, начальник режима – высокий, худой, как жердь, старлей, уже хлебнувший спирта за все социалистические народы.

При появлении Хирурга начальник режима весь напрягся, глаза его, всегда больные лютой ненавистью к энкам, сейчас были растеряны и грустны. Он сидел на стуле, далеко вперед вытянув ноги в сверкавших хромочах.

Хирург остановился на пороге.

– Михалыч помирает, – сказал начрежима треснувшим, слабым голосом горящего человека, но тут же вскочил, яростно заиграв тощими, острыми скулами. – За мной! – скомандовал старлей и широкими нетвердыми шагами направился из жарко натопленной комнаты наружу.

Конвоир молча пропустил Хирурга вперед и последовал за ним.

Они вышли в прозрачный черный лед полярной ночи. Воздух был крепок и тягуч, словно имел в своем составе горчицу. Над в перекрест освещенной прожекторами, пустынной территорией лагеря таинственно кипело в серебре зеленовато-фиолетовое марево северного сияния, словно там, вверху, само счастье свершало какой-то особый полет над многострадальной землей.

– Красота, – восхитился Хирург нелепости природы и присел для разминки ног, но задний конвойный заботливо стукнул его в затылок прикладом карабина, сказав:

«А ну не балуй, гад!»

Хирург после удара уткнулся культияпками в снег и выплюнул нечаянно вышедшую из носа кровь. Старлей не обратил на это происшествие никакого внимания, так как уже подходил к стоявшему неподалеку грузовику.

– Зубило, – определил Хирург своего охранника, вытирая кулаком кровь. – «Хозяин» тебя сейчас закопает на три метра в мерзлоту, если увидит на мне хоть каплю. А ты, сволочь, испортил мне весь мундир. – С этими словами он отвернулся от прибитого такой наглостью военного защитника и с оглушительным хрустом снега зашагал в направлении желтоглазой машины, нервно урчавшей у штабного барака.

«Хозяин» жил в вольном поселке недалеко от клуба, мимо которого каждый день утром и вечером ходил Хирург в общем строю – возводить новую ТЭЦ. Там он освоился стропальщиком, приспособившись цеплять тяжелые шлакоблоки кривыми своими пальцами, но работал споро, к тому же в отряде Хирурга всячески оберегали от непосильного труда. Он мог бы обжиться в больничке: чисто, тепло. Однако Хирург раз и навсегда отказался от выгодных предложений, решив нести крест до конца и полагая, что в качестве врача он как раз полезнее будет в самый гущу народа.

Сначала Хирурга оценили в лагере как дурака, и повар – толстый татарин – однажды хлопнул его по лбу половником за протянутую как бы не в очередь миску. Но, когда вечером

того же дня татарин обварил себе кипятком лицо, позвали не кого-нибудь, а Хирурга. Когда же через пару недель у повара сошли с лица коричневые с розовой окаемкой бугристые пятна ожогов, которых ему не сносить бы до самой смерти, к Хирургу стали относиться иначе. Теперь очередь перед ним молча расступалась, и Хирург получал свою порцию могары, изрядно приправленную от благодарного татарина жирной подливой, без всякого препятствия. С тех пор брать пищу без очереди было единственной привилегией целителя, какую он себе позволил. Один из эзков даже просветлел умом и высказался среди товарищей: «Он **ворожей**».

Хирург влез в кузов грузовика. Напротив уселся конвойный со шнурками на подбородке, держа карабин с отомкнутым, холодно сверкавшим штыком – серая тень при оружии. Впрочем, Хирург уже не думал о нем. Он представил себе, что сейчас должен будет спасать человека глубоко ему ненавистного, спасать палача, против которого восстает вся его душа. И дело даже не в том, что «Хозяин» был управляющим дьявольской машины лагеря. В конце концов, сколько таких лагерей и сколько управляющих. Хирург терзался мыслью: не станет ли пособником мерзости и грязи. Ведь помощи он сейчас начальнику лагеря – наверняка окажется в его милости и чести. Даже если Хирург отвернется от всех благ, которые могут повиснуть на нем независимо от его воли, он возвратится от «Хозяина» с клеймом. Как ни крути. Возможно, его и поймут те, с кем разделил Хирург свою долю, но грязь прилипнет навечно. Это уж верно. Но по сути даже не эти громоздкие мысли пугали Дмитрия Валова. В нем, как заноза, засело желание убить «Хозяина». Отомстить за всю кровь, за всю боль свою и многих других. В случае исполнения задуманного, Хирурга не страшили последствия, то есть, чем это могло ему грозить. Что ж, он пытался спасти, но не смог – слишком серьезная болезнь. На все воля Божья. Притом Хирург понимал, что таким «благотворительным» способом он не решит никаких проблем. Не перевернет мир, не опрокинет зло. На место нынешнего «Хозяина» придет другой. Точно такой же, а может, еще хуже. И все же дума о некоем возмездии не давала ему покоя, саднила, как свежая рана. Кротким не был Хирург никогда, несмотря на вразумительные беседы с небом, и умел, в случае надобности, достойно ответить на зло. Потому-то, вспоминая загубленного «Хозяином» Ильина, он скрипел зубами, а мысль о единственно возможном личном правосудии стучала в его висках вместе с пульсирующей кровью.

Чтобы свершить это правое дело, на которое толкал Хирурга тайно проживавший в нем внутренний боец, заключенному Валову за № 3-971 не требовалось никаких усилий. За исключением одного: не вмешиваться в действие Божьего суда. Пусть он вершится, этот суд, и он, Хирург, будет в нем вроде присяжного заседателя, согласного с приговором. А приговор... уж тут ясно – какой.

С другой стороны, что-то подсказывало Хирургу, что он не имеет права не употребить способности, дарованные ему свыше. Более того, Хирург вдруг понял, что сейчас именно он станет главным действующим лицом драмы. Точкой пересечения двух взглядов: просящего – снизу и благословляющего – сверху. Но сколько Хирург знал из практики – благословление приходило к нему всегда.

Хирург снова посмотрел в небо. Оно все так же безмятежно дышало волшебной сменой лилового, жемчужного и лазурного.

«Нет, – решил Хирург, глядя в тайную отчужденность бездны. – Я не стану помогать «Хозяину». Есть высший суд, но есть и земной. Не больший ли грех спасти убийцу, чем проводить его с миром. Он заслужил то, что заслужил. Кто будет отмывать от крови его руки? Я?! Не могу! Не хочу! Не буду!»

Машина резко затормозила у избы, вспалено горевшей из деревянных глазниц желтыми окнами.

Хирург прошел через жаркие сени навывлет и остановился лишь в горнице перед красивой, нарядно одетой женщиной со смиренно-печальным лицом. Поодаль торчал, как истукан, пожилой перепуганный военный, полковник Величко. В углу, обняв дебелого, прыщавого под-

ростка, сидела его супруга, рыхлая, затянутая в чопорное безвкусное платье, баба с копной растрепанных, похожих на верблюжью шерсть, волос.

В другом углу, прижавшись друг к другу, словно озябшие, ютились две розовые девицы, видимо, дочери «Хозяина».

Посреди комнаты торжественно стоял, покрытый белым, праздничный стол с богатыми закусками, графинами и рюмками, за которым с отеческим прищуром наблюдал со стены забранный в строгую рамку Иосиф Виссарионович Сталин.

Хирург снова посмотрел на печальную женщину и поразился тому, как могла эта бархатная бабочка с пушистыми ресницами влететь в жуткий ледяной створ, обтянутый сплошной колючей проволокой. Из какой она жизни и чья воля привела ее сюда?

Хирург смешался оттого, что из него на мгновение выветрилась вся философски выверенная определенность в отношении к начальнику лагеря. Перед ним стояла непонятная, убитая горем, прекрасная женщина, непостижимым образом являвшаяся женой палача. Объяснить это было невозможно.

Хирург потер окоченевшие руки и, еще раз оглядевшись по сторонам, строго сказал:

– Таз.

– Что? – произнесла печальная женщина голосом, родившимся из мягкого велюра ее платья.

– Таз, – повторил Хирург, уже задушив эмоции. – Мне нужен таз горячей воды.

И две девицы, вспорхнув, кинулись в сени. Вскоре полковник Величко лил по приказу Хирурга на его искалеченные, обветренные руки горячую воду, чтобы согреть пальцы, а потом и водку, взятую прямо со стола. Затем Хирург вытер спирт досуха и подумал о том, что неистребимую грязь, оставшуюся под ногтями, он теперь уже, наверное, унесет в могилу.

Наконец, его проводили в спальню, где, разметав подушки, в поту и жару лежал больной. Спекшиеся губы его чернели, лоб, простирившийся до самого затылка, был влажен. От усердия в службе виски начальника лагеря подернулись сединой, и не было сейчас в нем ничего, что еще день назад могло внушить страх и подобоострастие, какое внушают вожди и вождики на разных ступеньках власти...

Хирург обернулся, и все присутствовавшие, набившиеся в комнату за его спиной, под взглядом целителя вытолпились назад, в гостиную, осторожно прикрыв за собой дверь.

Какое-то время Хирург отрешенно и бесстрастно смотрел на распластанное тело «Хозяина», как Бог на прибывшего грешника, и вдруг неожиданно спросил:

– Ты все понял?

Начальник лагеря облизал потрескавшиеся губы, ища в узком, горячечном сознании хоть какое-то место для вопроса загадочного лекаря, но так и не найдя ни места, ни ответа, затворил веки и хрипло соврал:

– Да.

«Хозяин» не мог уразуметь, ни тем более знать: любое деяние подлежит строгому надзору, а любое зло обернется еще большим злом, горем, недугом, смертью самому или детям, или близким. Он, впрочем, и не подозревал, что творит, полагая, будто всю жизнь совершал и совершает необходимое правомочное дело. В конце концов – не он судья, а лишь самозабвенный исполнитель закона, который неведомо кто придумал, но поскольку придумано свыше, то ни осмыслению и уж тем более обсуждению не подлежит.

– Плохо, – констатировал Хирург. – Ни хрена ты не понял. Ладно. Вели немедленно перенести Ильина из шестого барака в санчасть. Если, конечно, еще живой.

Хозяин болезненно наморщил лоб, тяжело соображая, чего именно желает этот заключенный вымогатель, наконец, беспомощно продиктовал:

– Покличь начальника режима.

Когда худющий старлей вытянулся на пороге, Хозяин из последних сил, как мог, передал ему распоряжение Хирурга. Начальник режима козырнул, сверкнув острыми скулами, и щелкнул при повороте сапогами. Тут-то его и уцепил за плечо Хирург двумя корявыми пальцами.

– Привезете Ильина в санчасть, – напутствовал старшего лейтенанта Хирург, – пусть твои мордороты трут его снегом до жара в теле. Ясно?

Начальник режима взглянул на Хирурга, как на говорящий столб, и уже на выходе не выдержал, прошипел: «Умоешься еще, сука. Поплачешь, Менделеев».

– Нечем, родной ты мой, – посетовал Хирург. – Нечем уже ни плакать, ни умываться.

Он вновь повернулся к командующему лагерем, не испытывая к нему ни сочувствия, ни ненависти, словно перед ним лежало железное корыто, готовое вот-вот лопнуть неизвестно от чего. Однако Хирург подсел к недужному, откинул одеяло и машинально задрал ему до груди белую нательную рубашку. То, что он увидел, потрясло его до самых мизинцев. На месте солнечного сплетения большого темнело родимое пятно, напоминавшее своими очертаниями далекий Австралийский материк, к которому с детства Хирург имел трепетное влечение. Точь-в-точь такое же родимое пятно, на том же самом месте было и у матери Дмитрия Валова.

– Господи! – сказал Хирург вслух, чего голосом никогда не произносил раньше. – Что это?

А по извивам его мозга уже несло, летело, обгоняя вопрос: «Се – брат твой. Кто бы он ни был, прости его. Се есмь твой брат! И вы все ветви Древа. Ты не судья».

Хирург прослушал это сообщение и вздохнул, утомленный мгновенным путешествием сквозь глыбу времени и шелестящего пространства к Истине, которая лежала в нем же самом.

– Ну вот, – произнес Хирург, ощущая в себе тугую волну прозрения. – Если я создан по образу и подобию и могу проникать во все, даже в Истину, значит, я – во всем и все – во мне: и черное, и белое, и высокое, и низменное. И дьявол не может быть чем-то отличным от меня. Он тоже моя часть, боящаяся только одного – света Истины, добра и любви, что исходят от Бога. Вот где разница между Светом и Тьмой. В человеке есть и то, и другое. И если я принимаю Бога и иду к нему – во мне должен быть только Свет.

Хирург снова взглянул на страждущего, словно желая удостовериться: в том ли он, Дмитрий Валов, времени-измерении, не мать ли его родная перед ним. Лицо «Хозяина» вдруг искажилось под ударом жестокой боли, и он завыл на весь дом дурным голосом. Хирург увидел: медлить нельзя.

Лоб начальника лагеря покрылся мелким потом, а глаза лихорадочно заматались по комнате в поисках убежища от страданий. Тогда Хирург испросил благословения сверху и посредством трения раскалил себе руки, нагнетая в них такую мощь личной энергии, что они стали как бы тихо потрескивать. Затем он закрыл глаза и медленно просочился внутрь больного, словно вошел в некую тайную лабораторию, где вот-вот должна случиться авария. Зная, куда двигаться, Хирург мгновенно очутился в переполненном отработанной жидкостью резервуаре, выход из которого плотно закрывал, наподобие пробки, увесистый булыжник. Розовые стены резервуара напоминали срез живого листа, испещренного набухшими ветвями томящейся крови. Не переставая поступать, вода грозила через некоторое малое время с грохотом взорвать всю эту переполненную до отказа биологическую фабрику.

Хирург поспешил заключить камень между шипящих во влаге, раскаленных рук и приказал ему рассыпаться в первоначальный песок, из которого он и был сотворен. Камень заерзал на месте и вдруг лопнул, образовав облако бурой мути. Жидкость хлынула в освобожденную воронку, увлекая за собой бесчисленные песчинки грехов заведующего лагерным наказанием. Хирург же, возбужденный шумом водопада и скрипом песка, двинулся теперь ко второму источнику опасности, находившемуся непосредственно в почке больного.

Проплывая мимо трубчатых лабиринтов работающих устройств человеческого тела, он снова, в который раз, восхитился сложнейшей до непостижимости организацией жизни. Спу-

стившись в тазобедренную впадину, Хирург благоговейно оперся на бугристый остов позвоночника, и некоторое время посвятил размышлениям о том, как в этой замысловатой трубе, издававшей ровное гудение неведомых энергий, прячется и ночует загнанная, изуродованная душа начальника лагеря. Хирург хотел было выйти на поиски заблудшей, несчастной субстанции, но кто знает, сколько бы на это потребовалось времени; ведь за встречей неминуемо бы последовала беседа, а она могла затянуться надолго. Хирург оставил эту затею, лишь заглянул в заполненную жидким мозгом позвоночную полость и свистнул в нее, чтобы, может быть, на другом конце кто-нибудь ему ответил. Но там, на другом конце, осталось тихо. Вышло, свистнул Хирург безвозвратно. Он еще послушал ровную тишину позвоночника, но не огорчился безвозвратностью свиста, ибо это означало, что его звуковой сигнал проник в такие глубины сознания подопечного, откуда ожидать ответ можно было лишь через многие поколения.

А душа начальника лагеря, спеленатая плотной паутиной идеологических химер, беспросыпно спала в отдельном отсеке уже не один десяток лет.

Иногда, правда, от слишком жестоких внешних событий вздрагивала, как от далекого взрыва, и затем словно бы зябла в своей одинокой камерке. В такие минуты начальник лагеря, уставший от непрерывной карательной деятельности, чувствовал себя неудобно, много пил и ел на ночь жирное, накапливая в себе очередное твердое соединение.

Хирург всепроникающим, горячим зрением обнаружил этот факт и решил все-таки напоследок навестить бедную душу Хозяина, дабы провести в этом задренном наглухо бункере профилактические работы. Но пока необходимо было справиться со вторым камнем. Хирург просочился непосредственно в почку, однако вместо привычного целительного действия руками неожиданно решил применить изобретенное тут же новое средство. Впервые в медицинской практике Хирург надумал проникнуть в самое нутро камня и уже там совершить его разрушение.

Он немного поплавал над зловердным напрессованием в состоянии невесомости, копя в себе сознательную уверенность в том, что проникновение в камень не сложнее плевка, а затем с силой вошел в него, как в масло, чуть было не проскочив камень насквозь. Здесь было тесно и неудобно, а главное, безынтересно, и Хирург не захотел тут задерживаться.

«Что есть сия незыблемая твердь? – огляделся он по сторонам прочных стен. – Всего лишь нелепое напластование обусловленных причин, которые, если их старательно поскреести, по сути своей нематериальны. Выходит, искомый булыжник не физическое тело, а форма искривленного сознания пострадавшего. Его скопившиеся грехи».

С этой мыслью Хирург уперся руками в стенки камня и напрягся так, что на лбу у него выступил рабочий пот. Камень затрещал и посыпался в разные стороны. Теперь Хирург брал мелкие кусочки и растирал их между ладонями в пыль, дабы они могли наконец беспрепятственно выйти наружу. Когда это было сделано, лекарь подумал, что хорошо бы перекурить, поразмыслить о вечном, но обстановка не соответствовала, и Хирург приступил к завершающему этапу операции.

Он вынырнул из обезвреженной почки, проплыл мимо нежных извивов кишечника, отметив, что и здесь не мешало бы провести серьезный ремонт, миновал витиеватые нагромождения двенадцатиперстной и очутился на стыке двух реберных конструкций в солнечном сплетении всех жизненно важных путей организма. Именно тут и покоилась в глубокой спячке душа распорядителя лагерного порядка.

Хирург снял шапку и присел на корточки в знак почтения перед бесконечностью. Обернутая в какие-то жуткие лохмотья, свитые из праха и пепла, душа начальника тихо спала, сложившись калачиком, и не обнаруживала признаков жизни.

Хирург различил в себе трепетное, смешанное чувство, какое, бывало, испытывал прежде перед великими работами гениев-творцов. Он понял, что в данный момент разглядывает вечность. Он даже понюхал, как она может пахнуть. Но вечность запаха не имела. Тогда

Хирург отщипнул от лохмотьев на память лоскуток пепла, на котором еще можно было прочесть обрывок обугленной фразы, «...колесиком и винтиком» – повествовала перегоревшая строчка. Хирургу показалось, что он уже где-то читал подобное техническое сочетание, но вот где – вспомнить не смог. Значит, к вечности, то есть к самой душе, весь этот зловредный мусор отношения не имел.

Более того, Хирург обнаружил, что под спудом накопившегося праха здесь ровно трудится некий световой источник и очищение, и освобождение этого источника есть самое, может быть, сокровенное дело всей его Хирурговой жизни.

Он осторожно, слой за слоем, соскреб ногтями со световой сферы гниль и плесень химер, аккуратно собрал все это до последней крошки, чтобы рожденная душа человека жила в первобытной чистоте, и сунул мусор в карман бушлата.

Все нутро начальника лагеря озарялось теперь ясным, мягким светом, который может проистекать от любви и добра и горит изначально в каждом кротко и трепетно. Перед целителем было одновременно и ничто и все, весь путь без первого и последнего шага.

Хирург решил проверить душу подопечного и попробовал проникнуть в нее рукой, но рука прошла насквозь через светящийся шар, похожий на небольшую круглую молнию.

– Ишь ты, – восхитился Хирург. – Цаца какая. А вот, к примеру, можешь ты мне чисто-сердечно ответить: в чем же при нашей собачьей жизни все-таки смысл и суть всего?

Молния превознеслась в размерах и полностью заполнила все пространство начальника лагеря, поглотив заодно и Хирурга.

– Ты и есть суть, идущая к сути, – был тихий ответ ниоткуда. – Читай небо. Там смысл.

Хирург задумался над мудреностью слов посторонней души, знавшей некую редкую тайну.

– Ладно, – сказал он наконец, напяливая потрепанную эковскую шапку. – Свети на здоровье. Ты теперь чистая.

Целитель приземлился на свое место, туда же, где сидел, в человека по лагерному прозвищу Хирург, и открыл глаза.

Пред ним возлежало доброе, мясистое тело начальника лагеря. Но, представьте, оно имело теперь, в отличие от прежнего, голубые глаза влюбленной девушки. Вся кровать под начальником была мокрой от извергнувшейся внезапно жидкости. Зато лоб его атласно блестел, и щеки свежо розовели, как у садовника. При виде столь неожиданных перемен Хирург смутился.

– Ты чего, брат? – как можно грубее спросил изверга лекарь, ибо испугался: с такими глазами заведующий наказанием заведомо обречен был на гибель.

«Хозяин» вздохнул и улыбнулся, чем поверг Хирурга в полное смятение, так как в лагере на протяжении многих лет вообще редко кто улыбался. Что же до начальников, то этого здесь не делал никто и никогда, словно на улыбку у них существовал особый, тайный запрет.

Но более всего Хирурга поразило неожиданное исчезновение у «Хозяина» родимого пятна, столь схожего с родимым знаком матери целителя. Этому явлению Хирург определения не нашел, а потрогал, изумленный, то место на теле подопечного, где располагался загадочный абрис, чем вызвал у больного дополнительный прилив нежности. «Хозяин» заключил в свои руки изуродованную кисть Хирурга и попытался ее поцеловать. Хирург выдернул, как из мерзости, руку и окончательно понял, что совершил непоправимое. Новая болезнь начальника лагеря ему была уже не подвластна. Впрочем, подвластно теперь Хирургу было все, но обращаться с новорожденными он за свою жизнь так и не выучился.

«Хозяин» поворочался в мокрой постели и кротко спросил:

– Ты что, ворожей? Как ты это сделал?

– Это не я, – сказал Хирург. – Это сделал Бог.

– Бога нет, – произнес от «Хозяина» осколок его кривой памяти.

– Бог есть, – сказал Хирург. – Он один и есть. А все остальное, может быть, лишь игра Его воображения.

– Есть? – удивился «Хозяин», будто услышал это слово впервые.

Хирург взял со стола полстакана спирта, приготовленного для медицинских манипуляций, и одним глотком выпил содержимое до дна.

– Будь здоров. Не кашляй, Михалыч, – сказал он начальнику лагеря и, тяжело поднявшись, вышел из комнаты.

– Ну что? – спросила печальная женщина, жена «Хозяина».

Хирург посмотрел на нее долгим взглядом и вымолвил, чувствуя, что пьянеет: «Живите, раз Бог дал такую судьбу. Живите».

Именно этот день, когда Хирург совершил уникальную в своей жизни операцию, ознаменовался выпадением из сатанинской цепи лагерных устройств одного звена.

Начальник лагеря встал на ноги довольно быстро. Хирург еще несколько раз навестил «Хозяина» в его домашней больничной палате. Но эти посещения, организованные по велению начальника лагеря, имели уже не столько лечебный характер, сколько философски-риторический. «Хозяин» словно начал учиться жить заново, задумчиво выслушивая каждый раз рассуждения Хирурга о добре и зле, о чести и справедливости, о том глубинном понимании Бога в самом себе и во всем окружающем мире, каким к настоящему моменту обладал целитель, пройдя личную школу горя и страданий.

Душа выздоравливающего, очищенная Хирургом от мерзости и грязи, живо впитывала необычные уроки, и в уме нового непорочного «Хозяина» стали рождаться светлые утопические идеи переустройства общества.

В иные моменты богословских или общественных бесед начальник лагеря вскакивал, горячился, как юноша, предлагая немыслимые проекты, сутью которых было превращение системы отвратительных лагерей в череду садов-оазисов.

Тут ничего уже не боявшийся Хирург пугался: творение его рук, его гениальное создание гуляло по краю обрыва. Но как, посредством какой операции установить в человеке золотую середину мудрости – целитель не знал.

Приступив снова к привычной деятельности, начальник лагеря начал с того, что отдал приказ о немедленной реконструкции и расширении больничного корпуса. Контролировать работы и паче заведовать больницей безоговорочно назначил Хирурга. К этому было отдано распоряжение о строительстве клуба с библиотекой и обширной теплицы, которая могла бы снабжать эков свежими овощами от цинги и прочих зловердных болезней.

В свой кабинет начальник лагеря – Кривошеев Иван Михайлович – наказал доставить из Магадана каких-нибудь комнатных растений типа фикус, например, а также произведений известных художников на все четыре стены, плюс любую певчую птицу для полного ощущения природы в совокупности.

Иван Михайлович мечтал высадить по теплу на территории лагеря декоративные японские ели, которые он видел однажды в теплом летнем городе Находке, и, конечно, кусты жимолости. А как же. Без кустов – никак. Чтобы заключенные в часы отдыха могли по теплу, конечно, сидеть посреди кустов и елей на скамеечках с книжкой в руках.

Был также Кривошеевым наложен строжайший запрет на экзекуции, мордобой, мат, а главное – применение оружия.

Псарня теперь использовалась исключительно как зверинец. Отменялись так же унижительные обыскивания, оскорбления и никому ненужные многократные проверки личного состава.

На входе в лагерь был вывешен основной социалистический лозунг: «Человек человеку – друг, товарищ и брат».

Всех нарушителей гуманного указания велено было заключать для перевоспитания в отельную камеру сроком от пяти до десяти суток. Это наказание распространялось и на солдатско-офицерский состав, невзирая наличные награды и былые заслуги.

После обеда теперь полагался час отдыха, и в этот отведенный час зэки спокойно возлежали на нарах или разгуливали по лагерному плацу, приветствуя проходящего ненароком «Хозяина», как приветствовал встарь своего царя простой люд:

– Здоров, Иван Михайлович!

– Слава Богу, – улыбался в ответ начальник лагеря. – И вам всем желаю здравия.

Страх, тот самый, мерзкий, уничтожающий страх стал выветриваться из лагерной зоны, и даже удивленная природа в этом месте Колымской земли дала послабление: морозы осели, минус покатился к плюсу. Везде гулял смертельный холод, а в лагере Кривошеева разместилось тепло.

Иван Михайлович прочувствовал это явление и, вызвав Хирурга специально, таинственно сообщил:

– Все. Я тут, Дмитрий Александрович, построю церкву. Ты наблюдаешь, что происходит?

– Наблюдаю, – ужаснулся Хирург необратимости российского размаха.

Выходило, что действовать умело и мудро, попав в начальственное кресло, в этой стране не умел никто. Стоило человеку обзавестись портфелем или, что еще хуже, погонами на высоком посту, как им тут же овладевала страсть неумеренной деятельности. Причина же заключалась, конечно, в идее. А поскольку ни единый на посту не мыслил себя без идеи, то вот она-то, голу-бушка-идея, и распаивала своему родителю двери во все концы.

До тех пор, пока Хирург не совершал над начальником лагеря свою беспримерную операцию, Иван Михайлович слепо служил другой оглушительной идее строительства социализма, весело и браво замешанной на рабстве и крови. Этой звенящей идее служили миллионы. Служил, понятно, и Кривошеев, принимая ее за светлую, а главное – очистительную.

Хирург, вооруженный высшей энергией добра, мало того, что спас «Хозяина» от жадной смерти, но открыл ему глаза на себя и окружающий мир. И вот теперь «Хозяин» – Кривошеев Иван Михайлович – свежим, рвущимся умом и чистыми руками рьяно взялся за дело, чем ввел Хирурга в полную тоску, так как дело заведомо обречено было на гибель.

Уголовка, почуяв волю, откровенно захватила власть, и шестой барак пополнился окровавленными трупами, пока Иван Михайлович размышлял, как бы устроить в лагере спортивный праздник. Страх, побродив за воротами, снова вернулся под ошалелые крики воронья.

Вечером после резни, учиненной уголовниками, «Хозяин» явился в больничный корпус, где с некоторых пор целитель проживал как вольный человек.

Они молча и мрачно пили чай, ибо события дня провозглашали, что зло – явление более таинственное и глобальное, чем может показаться на первый взгляд. Добрая же мысль о том, что если тебе проткнули ножом один бок, нужно подставить другой – рассыпалась в прах.

– Что же делать, Дима? – спросил после тягостного молчания «Хозяин» и впервые в жизни заплакал.

Хирург допил кипяток, поскольку не знал, что ответить начальнику лагеря. И тут его осенило.

– Найди виновных и отпусти их на все четыре стороны, – посоветовал лекарь. – Лагерь твой решил жить по-новому, а они не хотят. Пусть идут. Добывают в тайге питание голыми руками. Едят друг друга. Пусть зло истребляет зло. Потому что добро этого сделать не может: жила мягкая.

Виновных оказалось шестеро. Их вывели перед строем, выдали по распоряжению Хозяина хлебный паек на сутки, а затем сопроводили за ворота.

Через две недели вернулись четверо. Ободренные, отощавшие; они стояли перед лагерными воротами, прося свидания с «Хозяином».

Иван Михайлович простил повинных, обязав их, опять же по подсказке Хирурга, следить за порядком. С тех пор в лагере стало тихо.

«Хозяин» поблагодарил целителя за ум и снова ринулся в действие, употребляя себя без остатка на утопию лагеря-сада.

По завершению строительства теплицы он празднично доставил в лагерь духовые инструменты и в один день организовал из эзков оркестр, руководить которым взялась Кривошеева жена, так как по далекому образованию была музыкантом, и все время супружеской жизни томилась полной общественной бездеятельностью и угнеталась.

Теперь по утрам и вечерам зона орошалась победными звуками маршей. Эзки начинали тускло сознавать: да, они рождены, чтоб сказку сделать былью. Но сильнее всех сознавал это начальник лагеря. Под гром оркестра он ликовал. Забывались заключенные, и выл на всю окрестную тайгу собачий зверинец.

Конечно, Ивана Михайловича, как всякого русского, который любит быструю езду, понесло. Он уже трудился вместе с зеками на строительстве свинарни, грелся в лагерном кругу на солнышке и читал взахлеб Пушкина до изумления и слез гордости за отечественную культуру.

Что и говорить: кто-то выкидывал в этом месте земли, на этом крохотном клочке такие коленца, что оставалось только диву даваться. И все из-за уникальной операции Хирурга по очищению человеческой души.

«Вот действительно, фокус так фокус», – удивлялся целитель своей работе и не знал, радоваться ему или печалиться.

Во всей лагерной фантазмагории Хирург принял правильную позицию. С солнечноликой отрешенностью Будды взирал он теперь на происходящее. Мол, деется – и пусть. Так угодно. А между прочим, Тот, кому было угодно, резвился вовсю, ибо Тот, чьих рук это было дело – Вечный Ребенок, мудрость которого непонятна и старцам. Единственное, чем огорчался Хирург, так это тем, что он поступил не научно. То есть, совершая свое гениальное действие, не задумывался о последствиях. А последствия были весьма предсказуемы. Что, если спросить себя, в том страшном мире могло рождать доброе сердце и чистая душа? Только то, что подлежало полному и неминуемому уничтожению.

Вот об этом целитель и не подумал, находясь в межреберной долине Хозяина, там, где обитала его высшая субстанция – душа.

Но тогда получалось, нет смысла заниматься подобной душеспасительной работой.

«Как же, Господи?» – удрученно спросил небо Хирург.

«Пример. Только твой личный пример веры и служения», – был ответ.

А тем окаянню чудным временем, когда вокруг лагеря полыхали пятидесятиградусные морозы, в зоне майора Кривошеева вышла на прогулку первая кучерявая травка и кое-где высунулась для огляда местности мать-и-мачеха.

Хозяин налился здоровым соком и весь сиял и румянился от своей благородной кипучей деятельности, за что вся прежняя охрана окончательно возненавидела Ивана Михайловича, но учинить расправу над ним опасалась из-за всеобщей народной к нему любви.

Для народа Кривошеев стал кем-то вроде крестьянского Ленина. Этот Ленин-Кривошеев развел на заднем подворье кур (благо, погода позволяла), свиней, мечтал о крупном рогатом, притащил из области штук пять гармоней, столько же баянов и двадцать балалаек с дудками. Лагерь стал напоминать гражданский трудовой балаган, нежели военно-карательное учреждение. Сами понимаете – как тут этого Ленина не любить! Любили.

Мало того, Иван Михайлович надумал вообще реорганизовать вверенную зону в коммуну всеобщей любви и братства, чтобы и остальное человечество впоследствии могло оглянуться на себя со стыдом и укором.

Для организации любви и братства предлагались тезисы, разработанные лично Иваном Михайловичем, его женой – Надеждой Кондратьевной Кривошеевой и двумя соучастниками составления – директором мукомольного комбината Лобовым, отбывавшим наказание за подготовку поджога склада в Свердловской области, и механиком Савелькиным, проходившим по делу съедения партийных документов Брянского горкома партии.

Тезисы были обширными и насчитывали сто тридцать восемь пунктов и девяносто семь подпунктов. Куда там настоящему Ленину! Поэтому народ и возлюбил Ивана Михайловича больше живота своего.

В тезисах, например, назначалось каждому:

1. Любить Бога всегда, везде и во всякое время.

Рекомендовалось:

2. Проснувшись, обнять и троекратно поцеловать близлежащего.

3. Иметь думы светлые, лба не морщить.

4. Улыбаться спокойно, благородно, без кривизны.

5. От уха до уха не ржать.

6. По территории лагеря ходить, обнявшись, по двое. (В крайнем случае – по одному, но любя всех).

7. Работать по принципу: лучше меньше, но лучше, чтоб не отвлекаться от любви и братства.

8. Мужеложство запретить навсегда.

9. Песни петь с любовью и ощущением братства внутри голоса.

10. Любить друга, как брата.

11. Любить брата, как друга.

12. Женщину любить так, чтобы она уже ничего не могла сказать, а только рожала население захлеб.

И так далее. Сто тридцать восемь пунктов и девяносто семь подпунктов.

Тезисы сразу утвердили на лагерном вече, которое стало непререкаемой, полуанархической в лучшем смысле, формой общественной жизни.

Иван Михайлович Кривошеев стоял на специально сколоченном деревянном помосте и с пафосом провозглашал народу означенные пункты. Позади него красовались, сияя и ликуя, соучастники – поджигатель Лобов, пожиратель Савелькин и Кривошеева Надежда Кондратьевна.

При них имелось знамя коммуны, на котором изображалось, по предложению Надежды Кондратьевны, сердце, символизирующее всемирную любовь и согласие.

Знамя двумя руками гордо держал пожиратель партдокументов Савелькин, и было видно, что он еле сдерживается от счастья.

И, между прочим, все заключенные, переминаясь с ноги на ногу, тоже еле сдерживались солидарно с пожирателем, демонстрируя, что вот до каких высот может довести великая идея, когда человек уже не принадлежит себе, а только ей, идее.

В сию пору всеобщего лагерного восторга трудно было даже вспомнить, что когда-то Иван Михайлович стрелял по такому же народу из нагана, без счета пил горькую и носил в почке за грехи два тяжеленьких камня, которые и уничтожил Хирург, вмешавшись в Божий промысел и суд.

Хирург, глядя на одеревеневшую от счастья толпу, теперь понимал, что вся его затея с операцией была ненаучной и алогичной. Потому что человек революции Кривошеев, возродившись, мог зачать лишь новую революцию.

Тогда выходило – врач не нужен вообще.

«Так прикажешь понимать?» – снова задирал Хирург голову вверх.

«Все ты сделал верно, – услышал целитель. – Свое делай всегда. Всякий пусть творит свое. Что дадено. Остальное...» – и тут прозвучал тот далекий, пугающий, раскатистый смех, который Хирург уже слышал не однажды.

Ликовавшие от любви держались друг за друга и смотрели в нечаянный весенний Колымский мир мокрыми глазами. Общий восторг был так велик, что в те минуты никто, ни один из эков не помышлял о том, что не мешало бы вернуться, раз уж такая выдалась свобода, к заждавшимся и горюющим родственникам. Что вся эта эйфория любви – чушь и зов очередной глупости. Но никто, как водится, не очнулся.

Один Хирург стоял и слушал, как тревожно бьется сердце да брешут в зверинце скучающие собаки.

Прозрение наступило на следующий день. По доносу коммуных братьев Кривошеева, которые клялись любить его до гроба, в зону с инспекторской проверкой явился начальник системы лагерей перековки и переплавки полковник Взбердыщев.

Это был человек почти двухметрового роста, отлитый из какого-то неизвестного пупырчатого железа где-то в дебрях Урала. Лицо Взбердыщева, а вернее сказать, фасадная часть верхотуры его туловища не имела никакого движения кожи. Для сообщений работала одна лишь дырка рта, извергавшая, в основном, шум такой брани, какой заключенные не слышали отродясь.

Ввиду торжественного повода, весь лагерь был выстроен во фронт.

Иван Михайлович шел рядом со Взбердыщевым вдоль строя и подмигивал заключенным, мол, все в порядке, ребята, пронесет.

Полковник вдруг остановился. Железная его голова переваривала какую-то думу. Дума переваривалась долго, так, что аж всем надоело. Наконец, отворив на голове дырку, Взбердыщев заорал, глядя на всех сразу мутными стеклянными глазами:

– Почему тепло?! Кто разрешил?!

Но, не дожидаясь ответа, поворотился к ближайшему заключенному, который, забывшись, стоял без шапки от любви к теплему воздуху, и нанес бедняге такой сокрушительный удар, что тот, не успев потерять радости братства, рухнул замертво.

Затем Взбердыщев на неспешном танковом ходу приблизился к теплице, уже дававшей первые стрелки зеленого лука, и тяжелым нажимом корпуса сокрушил десятиметровое в длину сооружение. Это действие сопровождалось непрерывным потоком бранного клетота из дырки на голове.

В течение дня проверяющий полковник трудолюбиво разорял и крушил Хирургову больницу, изломал сцену, с которой пели баяны с дудками, гонялся за курицей, но не поймал, зато разорвал двух свиней и, похлопав ладонь о ладонь, двинулся к машине, но на полпути остановился, долго стоял, мысля думу, вернулся и показал Кривошееву огромный, с хорошую гирию, кулак.

– Держись, сука, – пообещал Взбердыщев загробным голосом Вия и укатил.

Мир любви и братства был пробит пушечным выстрелом навывлет.

На лагерь лег туман тоски, тревоги и уныния. Но ненадолго. Спустя некоторое время «Хозяин», потрясший зону дерзкими нововведениями, превращавшими лагерь в вольное поселение пострадавших людей с разрешением многих неуставных свобод, был люто зарезан «соратниками по борьбе за светлое будущее».

Злодеяние отнесли на счет одного опасного политического каторжанина, который, на удивление, знал о коммунизме гораздо больше, чем должен знать рядовой гражданин общественной ячейки, не говоря уже о заключенных.

Мнимый злодей был как бы пойман на месте преступления бдительной стражей, скручен и избит так, что, когда его вывели для показательного расстрела, узнать в лицо этого человека

не мог никто. Бедняга, привязанный к столбу, даже не выразил радости по поводу вынесенного приговора.

Похороны начальника лагеря превратились в помпезную литургию в честь торжества великих идей.

«Хозяин», теперь уже бывший, добротнo возлежал в собственной избе на жертвенном алтаре и, будучи превращен в национального героя, серьезно выслушивал сквозь вечный сон стенания близких и клятвенные уверения соратников в святой преданности делу.

Его портрет, одетый в красный и черный шелк, красовался для гордости на стене, чуть поодаль от портрета вождя всех времен и народов.

Эки дружно выдолбили в вечной мерзлоте могилу, и гроб с телом народного страдальца торжественно опустили на место последнего пристанища. Над могилой вырос сверкающий во все стороны металлический обелиск с пятиконечной звездой, и люди отныне знали, что здесь покоится павший от коварной руки врага майор внутренних войск Кривошеев Иван Михайлович, честно отдавший все силы, жизнь и кровь до последней капли борьбе за освобождение пролетариата.

Все воротилось назад. Зона стала прежней, и даже холода снова ворвались на территорию лагеря.

Распутанная Хирургом душа прежнего «Хозяина», путешествовавшая над теми местами вместе с дружественной душой убиенного политкаторжанина, кротко улыбалась в течение отпущенных сорока дней нелепой мудрости земной жизни.

Хирург с печальным интересом наблюдал за происходящими событиями, проникая сквозь стены барака и расстояние зоны. Он уже умел видеть даже то, что будет. Поэтому Хирургу иногда становилось смертельно скучно и страшно от своего всепроникающего таланта. В то же время он понимал, что все охватить и всем овладеть абсолютно не сможет никогда. Лишь это обстоятельство и сохраняло смысл дальнейшего существования.

Заприметив как-то плывущую над бараком наподобие облака душу начальника лагеря, Хирург медленно вытянул руку и мысленно погладил старую знакомую, словно добрую собаку. Душа начальника, как бывшая пациентка, передала целителю некое тепло, в коем содержалось вполне внятное послание из другого мира.

Хирург прочитал таинственное теплое письмо и задумался.

В послании сообщалось, что все происшедшее за последнее время в лагере должно было случиться именно так и не иначе. Возмездие, которое замыслил Хирург, реализовалось посредством его справедливого замысла, соединенного, правда, с замыслом еще более справедливым, но исключавшим участие самого Хирурга. И что если камень в почке – результат одних неправильных или порочных действий, то ужасная и бесславная смерть – итог действий других, еще более тяжких и необратимых. Не видит этого лишь слепой или человек столь же растленный.

Кроме того, вместе с письмом Хирург получил подробный формуляр, напоминавший десять заповедей, толково разъяснявший, как необходимо действовать целителю в том или ином случае и какими духовными или энергетическими инструментами пользоваться. Вместе с заоблачным посланием Хирургу, по сути, вверялась целая операционная, оснащенная всем необходимым снаряжением, изобретенным неизвестно когда и кем.

После отбоя, укрывшись грубым сукном, целитель составил опись драгоценного инвентаря и, покончив с этой кропотливой работой, поразился сложнейшей простоте наличного имущества.

«Вот теперь, – подумал он, – я могу все». – Подумал и услышал далекий раскатистый смех, долетевший из глубокого ущелья Вселенной.

В этот момент верхний сосед Хирурга по койке, отбывавший восемнадцатый год наказания за умышленную организацию единоличного хозяйства с покушением на колхозного быка,

уведенного им из общественного стада для нужды собственной коровы, тихо заплакал, как он аккуратно плакал перед сном последние пять лет, очевидно, осознав, наконец, великое зло содеянного.

– Семеныч, – позвал Хирург.

Но сосед не внял. Тогда Хирург без позволения крестьянина вытряхнул его из собственного тела и отрегулировал в нем разбитую вдребезги нервную систему.

С этого дня Семеныч стал засыпать сухим, решив, что все слезы, какие были, он в своей жизни уже вылил наружу.

Еще раз в течение неспешных сорока дней от кончины «Хозяина» целитель встречался с бывшим управляющим, затерянным в сумрачных дебрях лагеря.

Как-то, перед окончанием рабочей смены, Хирург завернул за угол свежестроенной стены, расчерченной пушистыми лентами промерзшего между блоками раствора, чтобы справиться малую нужду, и наткнулся на человека, который что-то тихо выковыривал гвоздем из шершавой, словно побитой оспой поверхности.

Человека целитель опознал сразу. Перед ним сидел на корточках в одной натальной рубахе бывший «Хозяин» и, не боясь сорокаградусного мороза, сосредоточенно портил будущую ТЭЦ. Рядом с аспидом вдоль стен и там, и сям прилежно трудилась целая диверсионная группа из десяти-пятнадцати призраков, выполняя такие же загадочные действия.

– Михалыч, – по-человечески опешил Хирург, будто это был не прежний злодей, а его родной дядя. – Ты зачем тут... Опять совершаешь?

– Чудновского помнишь? – спросил, не оборачиваясь, «Хозяин». – Станислава Николаевича. Мы его здесь кончали. Возле этой стенки. Чудновского с товарищами. Видишь, пульки застряли.

С этими словами бывший начальник лагеря действительно выковыривал из стены пулю, и она, превратившись в синюю бабочку, стала порхать над ним, излучая слабое фосфорическое свечение.

Хирург поднял голову и увидел множество таких же мерцающих насекомых, безмятежно реявших над серым склепом недостроенного корпуса. Это было похоже на сон, на какое-то далекое кино. Но более всего Хирурга опалило то, что из каждой, очерченной белым, плиты шлакоблока за работающей бригадой приведенный строго наблюдала живая пара внимательных человеческих глаз.

Через мгновение целитель пришел в себя, но справиться нужду в этом месте не решился, так как поверил в обнаруженный десант больше, чем верил настоящей реальности, каковая уже давно не укладывалась ни в какие рамки нормального понимания.

Другой случай заставил Хирурга убедиться в том, что все происходящее вокруг – только зыбкая сфера, некая жуткая изнанка истинного существования, искаженным отражением которого в виде дикого абсурда и является его жизнь, как, впрочем, и жизнь всех остальных лагерных обитателей.

К примеру, в лагере трудился, неся свой крест, некий заключенный, Семен Ефимович Воронцов, по отцу – Фронт. Подтверждая боевую фамилию, Семен Ефимович добровольно участвовал в войне, хотя для этого ему пришлось оставить кафедру Московского университета. Он прекрасно владел двенадцатью языками, несколько знал просто хорошо и многие понимал внутренним чутьем.

Благодаря удивительным лингвистическим способностям, в армии Семен Ефимович немедленно возглавил интернациональное ядро, а вскоре был назначен командиром батальонной разведки. И вот тут господин случай сыграл с ним злую шутку.

Однажды, хватанув после удачного боя с дивизионным командиром спирта за будущие победы, Воронцов, никогда не пивший водки, получил затмение, которое рассеялось в немецком блиндаже. Еще не придя в себя, Семен Ефимович крепко обижался на незнакомых людей,

используя новый военный язык, какой он постиг на войне. Очнувшись, Семен Ефимович перестал ругаться и поразил фашистов редким знанием в первоисточниках Шиллера и Еете на немецком. В тот момент его спасли три обстоятельства. Во-первых, будучи полукровкой, он относился к евреям, внешне на евреев совершенно не похожим. Во-вторых, Семен Ефимович носил благородную фамилию матери и по документам значился как старший лейтенант Воронцов. В-третьих, командир советской разведки, конечно, вызвал у врага несомненный интерес по всем статьям, и немец решил немедленно отправить задержанного в штаб. Однако мотоцикл, на котором двое автоматчиков повезли самовольно явившегося в нетрезвом состоянии красного бойца, нечаянно налетел на свою же мину, оставив в живых только Семена Ефимовича.

Вот с такой подпорченной репутацией и небольшим ранением плеча Сеня Воронцов-Фронт доставился в родной батальон.

Пристально рассмотрев проступок Семена Ефимовича и исследовав имевшиеся до войны места командировок в Париж, Дрезден и Варшаву для изучения произведений искусств, суд покарал гражданина Воронцова всеобщим презрением и назначил ему, как врагу народа, заслуженную трудовую вахту на ближайшие двадцать лет.

Семен Ефимович плакал на суде и предлагал во искупление собственную кровь. Но кровь его никому не понадобилась, так как Воронцова требовалось перековать.

После путешествий по бескрайним просторам России и пересыльным тюрьмам Семен, занимавшийся на воле западным искусством, неожиданно полюбил русский народ. Полюбил его самобытную культуру, своеобразный уникальный язык, традиции, шутки, поговорки и даже незлобный матерок.

Но особенно возлюбил Семен Ефимович великого вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина.

В то время когда глаза колонны, топавшей на работу, источали тоску и уныние, Сеня Воронцов лучился какой-то загадочной полуулыбкой, сопровождаемой шевелением губ, что означало рождение новой оды вождю.

Благодаря феноменальной памяти, Семен своих стихов никуда не записывал и знал все наизусть. Оды его были так длинны, что его никто не мог дослушать до конца, поскольку у заключенных для подобных занятий не хватало ни времени, ни сил, ни желания. К тому же Сенины оды, сочинявшиеся им с тех пор, как он слегка пошатнулся умом, пахли столь приторно сладко, отдавали такой помпезностью и вместе с тем раболепием, что трудно было представить, как сей человек когда-то занимался высокой, по большому счету, литературой.

Ежедневно Семен наливался звонкими стихами, словно неким духовным веществом, которое распирало его изнутри. Тогда он время от времени не выдерживал внутреннего поэтического давления, выставлялся перед отбоем всей своей тощей фигурой посреди барака, растопырив ноги в драных вонючих обмотках, и начинал долгую, заунывную аллилуйю Сталину. Других произведений он в лагере не писал.

Сошлись коммунары под сенью Кремля, – читал Семен, вздымая костлявые кисти к черному потолку.

– В Москву их послала родная земля.  
На славной трибуне наш друг и отец,  
Наш Сталин великий, отрада сердец.  
И плещут ладони, и возгласов гром,  
И души раскрыты пред ясным вождем.  
Ему свое сердце народ отдает,  
И Сталин – Великий, как солнца Восход.

Он радость для сердца, он свет для души  
Правдивые речи его хороши.  
И жду с нетерпением счастливого дня,  
Когда в члены партии примут меня.

Предан наш народ Отчизне,  
Дорога ему держава.  
Сталину, творцу бессмертной жизни, —  
Слава! Слава! Слава!

И это бывало только началом, только запевом к бесконечной, напудренной и разукрашенной песне, уходящей в стынь глубокой ночи, в храп и стоны эков.

Поэта Воронцова вызывали даже к начальству и там учиняли ему экзамен на предмет выявления в стихах крамолы. Но все бессмертные творения Семена были настолько идиотически искренним панегириком вождю, что командующие лагерным наказанием отступали в тыл.

– Вот ты говоришь: «Когда в члены партии примут меня»... – пытал Семена начальник режима и задал роковой вопрос: – А ты хоть понимаешь, что такое коммунисты?

– Коммунистом можно стать лишь тогда, – смело отвечал испытуемый, – когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

– Это почему? – морщили лбы экзаменаторы.

– Ленин.

– Что Ленин?

– Так говорил в своих сочинениях Владимир Ильич Ленин.

– Гм, – сказал начальник режима, глядя в бумажки на столе. – Значит, ты читал Ленина?

– Так точно! – радостно, по-военному докладывал Семен.

– Какие же ты знаешь сочинения?

– «Империализм и эмпириокритицизм», «Лучше меньше да лучше», «Как нам реорганизовать рабкрин»... еще?

– Ладно, – удовлетворилось начальство. – Иди. Но смотри, твою мать, чтоб это... чтоб не дай бог там что-нибудь... Понял?

– Так точно, – успокоил начальство Семен.

Заключенные, правда, не противились Сениным излияниям: под их монотонную мелодию легче засыпалось. Впрочем, была и другая причина. Однажды некто Панюшин, отбывавший наказание за то, что оставшись во время одного из боев в орудийном расчете один, как ни старался, будучи раненым, не смог вытащить пушку из болота, а потеряв сознание так же, как и Семен, попал в плен. Бежал, был пойман, изорван собаками. Но лишь только поправился, бежал снова, пересек линию фронта и рыдал, словно ребенок, на плече первого, встретившего Панюшина, красноармейца.

Рыдая в гимнастерку русского бойца, капитан Панюшин думал, что самое страшное позади, главное – он среди своих. Но свои оказались разными. В НКВД посчитали, что будет правильнее, если этот самый капитан прочувствует свою вину где-нибудь на Колыме, тем более манеры и тон подсудимого солдата выплескивались за рамки чиновничества. Рваные раны от собачьих клыков и осколочное ранение не доказывали судьям факта жертвования Панюшиным в пользу Родины последней капли крови.

В лагере Панюшин был замкнутым, угрюмым человеком, редко произносившим что-либо. И вдруг среди ночи, как гром, прозвучал его голос.

– Заткнись, падаль! – резко выкрикнул Иван Панюшин. – И умолкни вместе со своим Сталиным.

Утром начальник отряда, человек, имевший на лбу волосы до самых бровей, хрипло перечитал список вверенных ему заключенных, но на фамилии Панюшин запнулся и, достав карандаш, жирно вычеркнул с ехидной ухмылкой его в своем кондуите.

Больше командира боевого артиллерийского расчета Ивана Сергеевича Панюшина никто никогда не видел.

Кроме Хирурга.

Хирург давно уже понял и утвердился в мысли, что человек – лишь маленькая частичка в огромной системе природы и космоса. Он знал также: частичка эта неразрывно связана многими нитями со всем окружающим и заоблачным миром, питающим ее и мощной энергией, и живительной силой, исходящей от некоего высшего разума, который люди и называют Богом. Ведомо было Хирургу и то, что после смерти человек не перестает существовать совершенно. А оставив свое тело как пустую личину, и загадочный, продолжающий действовать в качестве памяти о прижизненных делах земной след, душа – суть человеческая – переходит в иные сферы новых миров, о которых ни Хирургу, ни еще кому-либо знать не дано. Однако он, Хирург, после продолжительных философских бесед с тибетским Виктором поднялся на такую ступень знания, когда мог видеть и немо разговаривать с существами, прежде обладавшими людским обликом.

Явившийся Хирургу после отбоя по призыву лекаря Иван Панюшин ясно поведал Дмитрию Валову о том, что обнаженное тело его, получившее шесть пуль автоматной очереди, брошено в таежный снег неподалеку от лагеря на съедение волкам. Но не это главное. А главное то, что Россия платит и еще долго будет платить за те кровавые грехи и богоотступничество, которое она совершила в семнадцатом году. Содеяла это не по своей вине, ибо давно приняла Христианство как единственное Царство Божие, а по вине иродов, сгрудившихся у трона и вторично распявших Христа. А вот оплачивать долги придется всему народу. «Но все-таки, – известил призрак русского воина Ивана Панюшина, – именно на Россию будет смотреть весь мир, так как сохранился в ней и возродится родник духовности божьей в самом высоком смысле, несмотря ни на что. Этим лишь и спасется земля наша. Ибо спасение – это жизнь с Богом и в Боге. А если сие поймут дети и дети их детей, поймут, что кроме любви друг к другу, ко всему окружающему, ко всей Вселенной и Богу нет чувства выше – Россия расцветет, как жасминовый куст, а вслед за ней и вся земля. Иначе – конец мира».

«Ты же, Хирург, делай свое дело, как делал, – наказал Панюшин. – Отдай всем страждущим свое сердце и жизненную силу, и энергию ради исцеления нуждающихся в твоей помощи. Не так ли поступал и Христос, посланный Господом для спасения человека, для прозрения его духа и веры? Неси, Хирург, свой крест тихо и смиренно. Помни: Господь знает, думает о вас, а в нужное время даст и свободу, и искупление, какими бы тяжкими они ни были».

С этими словами бывший боец легко просочился сквозь потолок барака и растаял во мгле, где он теперь проживал.

Хирург некоторое время лежал в глубоком размышлении о словах Панюшина и вдруг неожиданно и, как ему показалось вначале, некстати вспомнил, что и его собственный отец в свою пору ревностно защищал завоевания Великого Октября, служа в войсках НКВД, пока не погиб в одной из перестрелок с «белогвардейскими бандитами».

Хирург вздохнул и первый раз обратился к Богу совершенно осознанно и направленно, с искреннею молитвою о милости и прощении России и всего имеющегося при ней человечества.

Для себя Хирург не просил ничего, только по жесткой, одеревенелой от морозов щеке его медленно ползла одинокая, скорбная слеза.

Вспомнив сейчас последнюю, необычную встречу с Панюшиным, Хирург толкнул в бок дремавшего Боцмана.

– Ты чего, Митя? – повернул к нему Боцман привядшую ото сна, густо заросшую трехмесячной бородой физиономию.

– Я думаю, Петя, – сказал Хирург, – за что, спрашивается, мы сидели в тех клятых лагерях? А?

Боцман ошарашено поморгал и, не будучи в состоянии ответить сразу на неожиданный вопрос, озадаченно покашлил в кулак.

– Ну как, стало быть, за что? Один – за то, другой – за это, – вразумительно высказался старый моряк. – Я, ты знаешь, чуть башку не снес замполиту. Это ж тебе не шутки. Мне еще повезло, Дима. Я, можно сказать, промахнулся. А попади тогда ему прямо в носовую часть – труба. И ему, ну и мне, конечно. Так что, Дима, я сидел правильно. Что я, палач какой-нибудь? Имел ли я право казнить того шелудивого замполита, когда он, в принципе, и не виноват, если разобраться. Виновата, понятно, моя жена. Но Бог ей судья, и она, вероятно, свое получит. А вот ты, Митя, за что страдал – тут я теряюсь... Да и сколько же вас было там таких, безвинных? Мама родная...

– В том-то все и дело, Петя, – сказал Хирург, – все мы получали свое. За грехи наши. И даже, скажу тебе больше – за грехи предков наших. И близких, и далеких.

– Ну, это ты загнул, Митя, – засомневался Боцман. – Причем тут...

– Причем – не причем, а так оно и есть. Поверь мне. Как-нибудь я тебе растолкую, что к чему.

– Да, – задумался Боцман. – Может, ты и прав. Тебе виднее. Ты, Дима, человек научный. А мне до твоего маяка не доплыть.

– Доплывешь, Петя. Доплывешь. Маяк, он на то и маяк, чтоб на него держаться. Так или нет?

– Так-то оно так, – неопределенно согласился Боцман. – Только уж больно оно все мудро получается.

– Мудрость, Петр Трофимович, – сказал Хирург официально, – есть свет, истекающий из всех страданий наших. Так-то.

Боцман с некоторой тревогой взглянул на своего друга.

– Это тебе, случаем, не Гегель лекцию прочел?

Хирург улыбнулся.

– Гегель до лекций не дорос. Гегель – Фаэтон. Бродячая звезда. Какие лекции? А вот мне бы и впору, да знаний нужных нет. Маловато. Несмотря на весь мой лагерный опыт. Знаний – с ноготок. Вырвусь отсюда – начну все сначала. Учиться начну. А знаешь, чему?

– Чему?

– Науке постижения Бога. В себе и во всем. Нас этому не учили. А это, как выясняется, главная наука.

– Не поздно?

– Что не поздно?

– Учиться, говорю, не поздно?

Хирург вздохнул.

– Этому, Петя, учиться никогда не поздно.

– Эх-хе-хе, – закрутил Боцман. – Чувствую, улетишь ты скоро в свой Петербург, и останусь я один, как якорь на дне моря. Давай, что ли, дернем по маленькой от тоски.

– Послушай, Петя, – сказал Хирург. – Я больше, приеду в Питер, пьяной капли в рот не возьму. Нельзя быть с Богом и хлестать водку. Мысли должны быть чистыми, как горная речка. А мы что? У нас мозги иной раз, будто портянки нестиранные. Позови меня больной в такой момент, что я с ним буду делать? Чем помогу? Вот ты, к примеру. С виду мужик здоровый, а селезенка, я вижу, у тебя барахлит. Тут вот... – Ткнул Боцмана в левый бок своей культишкой Хирург. – Вот здесь болит иногда?

– Случается, – сознался Боцман. – Только мне, Митя, на все это наплевать. Пропал у меня интерес к жизни. Понимаешь? Пропал. Раньше была работа по сердцу. Жена. К чему-то

стремился, книжки читал. Матросов любил. Не жил, а летел куда-то. Веришь? Да и купюры водились. Тоже, между прочим, не последнее дело. У меня о водке тогда и размышления не было. Купить мог – чего хотел. Да и цены, кстати сказать, стояли божеские. В отпуск – дуй хоть на золотые пески Варны. А сейчас что?.. Нет, Дима, ты себе как хочешь, но я хлебну, – решил Боцман и достал из рюкзака бутылку. – Не сложилась. Куда мне рыпаться: пятый десяток покатыл. Такое чувство, будто торчу на причале, а пароход мой – вон он... скоро за горизонтом скроется. Тоска, Дима. Тоска серая. Глотнешь горькой – вроде теплее на душе. И пароход как будто недалеко. Глянешь – матросики по палубе бегают. С ними и сердце оживает. Так что богу – богово, а меня ты тут не убедишь. Как идет – пусть идет. И чему быть – того не миновать. Я ни перед кем не в долгу. Сам за себя в ответе. Да и годы не те – начинать сначала.

– Не нравишься ты мне, Петя. Ох, не нравишься, – в сердцах объявил Хирург. – Что ты сопли распустил? Вспомни, как жил в тайге три месяца. Един был со всем миром и душой спокоен. Не пил же там? Не пил. Никто не пил. И все на людей стали похожи. Потому что жили по-божески, чисто. Разве мне легче, чем тебе? Вот прилечу я в Питер. Кто я? Что я? Кому там нужен? Найду ли сына, жену? Да и признают ли они меня? Может быть, там давно другая семья. И все-таки, я верю, Петя. И молюсь. Нужно верить. Не опускать руки, как ты это делаешь. Есть у тебя дорога – иди по ней до конца. Крест на плечах – неси смиренно. Поставь цель – вернуться на корабль. И дано тебе будет. Так говорил один мой приятель из Тибета. Не забывай только обращаться к небу. Помни: ты человек и рожден для радости. А печаль твоя и хандра неутешная передаются всему миру. Близким твоим, далеким, вон тому дереву, сопке этой, океану. Все мы – одно целое. И если плохо тебе – плохо еще кому-то. А от радости твоей оживает Земля. Радость же приходит, когда, несмотря ни на что, добьешься своего. Вот тогда, Петя, почувствуешь себя человеком.

Водитель переключил скорость, и автобус пошел на взлобье перевала с новой силой.

Пассажиры дремали, похрапывали.

Боцман закупорил бутылку, засунул ее обратно в рюкзак и отвернулся к плывущему в редкой метели окну.

– Откуда ты взялся на мою голову, – сказал он в никуда. – Так было просто: вот мешки, вон ящики. За углом магазин. А теперь сиди, думай. Разбередил ты мне раны, Дима.

– Это не страшно, – ответил Хирург. – Думать, как показывает опыт, всегда полезнее, чем шастать по магазинам. Сие тебе как врач констатирую. И вернуться на корабль помогу. Есть у меня одна мыслишка.

В тот день, когда исчез Гегель – Смирнов Василий Николаевич, Хирург не находил себе места.

Нужно было обустроить лагерь. Боцман с Борисом стучали молотками, натягивали палатки для хранения вещей и непортящихся продуктов. Мастерили в вагончике, стоявшем на берегу шумной, быстрой речки Лайковой, деревянные нары, а лагерьный лекарь все ходил из стороны в сторону с бесполезным в его руке топором, не понимая: зачем, почему и куда устранился их загадочный собригадник.

По опыту Хирург знал, что эти места, сплошь покрытые дремучей тайгой, насквозь пропиты неумолчными речками, питавшимися ледяной водой таявших на сопках снегов, многочисленными протоками и ручьями болот. Пройти сотню верст по такой местности до Магадана мог только человек бывалый, выносливый, зоркий, для которого и примятая трава, и надломленная ветка, и откровенный след, и крик птицы были своего рода сообщением о том, как поступать в той или иной ситуации.

Смирнов же Василий Николаевич, облаченный в старенький, заношенный костюм, нестиранную рубаху, повязанную под воротничком аляповато-ярким галстуком, при затертом дер-

матиновым портфеле, в коем болталась электробритва, ветхое Евангелие и резиновый заяц, походил больше на заблудшего бухгалтера, нежели на матерого таежника.

– Ну чего ты маешься, в натуре? – угадал мысли бригадира Борис. – Никуда твой очарованный не денется. Хотя зачем ты взял его, никак не пойму. Я таких чумовых знаю. Завалился, как Ванька рязанский. Посидел на пенечке, покумекал – работа тяжелая, комарье, гнус пойдет. Помаша-ка тут косою на болотах... Нет, думает, это не по мне. И пошел втихую. А пойдет он, я тебе говорю, берегом Лайковой аж до Охотского моря. От одной стоянки косарей до другой. Мебель, небось, таких косильных бригад набросал по реке штук двадцать. До самой столицы Колымского края. Так что не бойсь: везде ему, прикурку, и харч, и ночлег, и все прочее. Это чучело и мишка обойдет, и волк с рысью от хохота сдохнут. Другое дело – погреб некому копать. Тут я сейчас упер бы его лопатой в землю. Да и кухню ладить некому. Баню ставить. Не на неделю прикатали. Дрова к вечеру пилить. Работы навалом. Руки, сам знаешь, на вес золота. Четверо – не трое. А он, курва, в самый такой момент взял и сдунул. Но ладно, бугор, не бери в голову. Не вешаться же теперь. Справимся. Жалко, конечно, клешни тебе переломали те твари – Боцман рассказывал – ну ничего, переживем. Не убивайся, Хирург. Как-нибудь потихонечку все организуем.

– Да, скоро горбуша пойдет, – невпопад присоединился к разговору Боцман. – Икра будет.

Тайга по обе стороны реки стояла тихая, стройная. Неслышно умывалась неярким колымским солнцем. Но из дебрей ее тянуло чем-то диковато жутким, первобытно далеким.

– К вечеру дождь будет, – сообщил Хирург. – Надо поторапливаться с палаткой.

Борис оглянулся по сторонам.

– С чего ты взял? Небо кругом чистое.

– Вон ту сопку видишь? – показал Хирург топором. – Я ее Шаманом назвал. Так вот, если Шаман сидит в серой заячьей шапке из облаков – быть дождю. Тем более ветер оттуда. Ежели соболю на макушке снежный сверкает – солнце до заката. Словом, живой прогноз. Ну а сейчас чего мы наблюдаем?

– Серый на голове, – подтвердил Борис.

– То-то и оно, – вздохнул Хирург. – Представляешь, каково Гегелю будет? До ближайшей стоянки, не зная короткого пути, он не дотянет.

– Так ему, козлу, и надо, – вспыхнул Борис. – Пусть помокнет, раз мозги кривые.

– Мозги, Боря, у всех кривые, – открыл Хирург. – Главное, какие мысли в них имеются. А дурными словами в чей-то адрес бросаться нельзя, Боря. Они, эти слова, к тебе же и вернуться. Бедой, болезнью, переломленной судьбой и прочей неприятностью.

– Получается, много ты налил на кого-то слов таких? – с намеком на Хирургу долю спросил Борис.

Хирург поднял с земли толстую ветку, положил на пень, с которого недавно отделился в тайгу Гегель, и одним ударом пересек ее надвое.

– Нет, Боря, – сказал он. – Слов дурных я ни на кого за свой век особенно не обрушил. Потому и здоровье пока – тьфу-тьфу – слава богу. А жизнь переломилось – тут другое. Как-нибудь я тебя с Боцманом соберу и прочту между вами лекцию. Эта тема сильно глубокая. Признаться, мне и самому в ней многое неясно, но кое-что я все-таки понял. И Гегель, думаю, ушел неспроста. У него, видно, была своя причина, отличная от той, Боря, какую ты выставил. Если к ночи занепогодит – придется искать. Собаку, и ту жалко потерять. А уж человека...

– Вот интересно, Хирург. Чем ты меня берешь? Не могу просечь. Все внутри вроде бы противится тебе. А что-то шепчет в душе: прав он, прав. Святой ты, что ли? Или колдун?

Действительно, Хирург не ошибся. К исходу дня солнце еще не успело спрятаться за сопки, обливало тайгу теплым последним светом, а со стороны Шамана низко поползли лохматые пепельные тучи, ощупывая сивыми лапами верхушки старых сосен.

Стало сумрачно и тревожно. Вода в реке почернела и только на перекатах она по-прежнему вскипала и пенилась белыми вихрастыми бурунами. Чайки, налетевшие в ожидании нереста, притихли на островах, изредка оглашая помрачневший лес вещуньями криками. Предвещали же они непогоду, возможно, затяжную, какими и славится короткое колымское лето.

Хирург прослушал последние новости птиц и решил с утра, не откладывая, отправляться на розыски Гегеля.

Вертолет, вызванный для обнаружения беспутного косаря, впустую покружил над тайгой, да так ни с чем и вернулся на базу.

Тучи начали сеять холодной моросью, но складские палатки уже стояли и кухню успели укрыть полиэтиленом, спрятав под двойной крышей немного сухих дров. Но там кашеварить не стали.

В вагончике растопили чугунок и на ней приготовили японский порошковый картофель, щедро заправленный свиною тушенкой: с утра не держали во рту ни крошки.

Борис достал припасенную в городе бутылку рисовой водки и разлил ее в алюминиевые кружки.

– Ну что, мужики, – произнес Хирург и немного подержал кружку, обхватив ее с двух сторон корявыми пальцами обеих рук.

В свете керосиновой лампы морщины на его лбу и проямы на щеках стали глубже, худое лицо заострилось, и весь он сейчас напоминал старейшину древнего рода. – С началом сезона!

– Бог в помощь, – поддержал его Боцман.

Глухо чокнулись незвонким железом и, обнюхав хлебушка, набросились на еду.

Тихо шелестел по крыше за окошком дождь. Чутко вздрагивал желтый лепесток пламени за стеклом лампы. Пахло сосновыми дровами и керосином. От печки, водки и пищи враз стало жарко.

Обросший бородою, Боцман являл собою дремучее чудище, и ложка в его лохматой лапе казалась не больше булавки.

В свете дня борода старого моряка имела вид осанистый и даже как бы ухоженный. Сама собою разделенная на подбородке на две равные части, она плавно застилала лицо его рыже-золотой порослью с пробитыми сединой в концах скул витыми кольцами. В сумраке же была какого-то пугающего цвета обожженной меди, а вся его включенная после работы голова представляла некий далекий ветхозаветный образ.

Глядя на размытые очертания реки за небольшим окошком наскоро обустроенного жилища и думая свою неведомую думу, Боцман неожиданно решил вслух:

– Завтра побреюсь к чертовой матери. Начинать новую жизнь – что с якоря сниматься: надо с чистой мордой.

– Вот комары обрадуются, – засмеялся Борис. – С твоей лысой фотографии им до самой осени крови пить, не перепить.

– А я думаю, ребята, – вмешался Хирург, – придется мне с утра выходить Гегелю наперерез.

– Правильно, – поразмыслив, поддержал друга Боцман. – Все равно никакой работы не будет. Я чаек слушал. Говорят, сырость с неба дня на три, не меньше.

Борис покачал головой.

– Неугомонный ты дядя, бригадир. Но я, если ты не против, пойду с тобой. Найдем твое чудо, хоть посмеюсь над этой мокрой курицей.

Хирург хотел было что-то сказать, но промолчал.

– А мне чего делать? – пробасил Боцман. – Не оставлять же лагерь.

– Ты к вечеру как раз только и побреешься, – прояснил Борис.

– Слушай, Боря, – надорвал тишину лагерный целитель, – скажи мне: за что ты людей не любишь?

Борис помедлил с ответом, закурил питерский «Беломор», выданный сенокосчикам на все лето.

– Как тебе сказать... Не за что их любить пока. Не видел я в жизни ни от кого ничего хорошего. Человек по природе своей злой. Злой, как волк. А ты должен быть еще злее – иначе сотрут в порошок, растопчут и ноги об тебя вытрут. Рви свое – тогда будешь жить. Вырвал побольше – тебя уважают, кашляют перед тобой, кланяются. А не вырвал – ты вошь, гнида. Всякая кляча копытом раздавит. Ты – никто и никому не нужен. Хоть люби человека, хоть не люби. Он к тебе все равно задницей повернется. Если нет ничего в кармане, так и будешь катать с места на место, от берлоги к берлоге, потому что ты – голь перекатная. И цена тебе – один деревянный, да и то – стесанный. А все эти «возлюби», «снимай рубаху», «не укради», «не прелюбодействуй» как раз на такую рвань и рассчитаны. Поскольку им ничего другого не остается. Люби ближнего и все. Может, он корку какую подбросит. А женщин иметь – в кошельке ветер гуляет. Конечно, философия не новая, но как я успел заметить, Хирург, весьма прочная. И в наше время, поверь мне, самая предпочтительная. Соглашайтесь, не соглашайтесь, меня с нее не сдвинешь. Жизнь научила кое-чему. Человек же сам по себе – такое изобретение, что ему все мало. Есть дом – нужна «тачка». Есть «тачка» – подавай дачу. Имеется дача – причаль к ней яхту. И чтоб в ней – красотка. И так без конца. Но здесь-то и зарыт интерес. Жизнь – бой. Будешь изворотливым, сильным – победишь. Нет – извини, подвинься. А любовь – это, Хирург, лирика. Без запаха и цвета. Ее не потрогаешь руками, чего она такое и сколько стоит... Вот прикинь, я на Ривьере, – есть за бугром курорт такой. Выхожу из длинного белого «Форда» в белом костюме с сигарой во рту. И меня сразу все любят. Предлагают и то, и это. А я, усевшись в плетеное кресло, лишь выбираю и то, и это. А почему? Потому что люди мне нужны только как средство достижения своей цели. И я передвигаю их, словно фигуры на шахматной доске. А если я буду любить их, как ты говоришь, то никогда не стану ни Фордом, ни Рокфеллером, ни Лениным-Сталиным. Это – дважды два. «Мы всходим на корабль и происходит встреча, – говорил один французский поэт, – безмерности морей с предельностью мечты». Вникните в эти строчки и поймете, что я прав. Предельность мечты! Есть черта, за которой все обнажается, будто под твоим скальпелем, Хирург. А ты говоришь – любовь. Ты, кто лучше других знает: проведешь по коже этой штукой, и вот они – печень, почки, легкие и прочие предметы. Где она тут, любовь? В желудке, селезенке, кишках? Где она?

На Хирурга тогда навалилась какая-то тяжелая, плотная тишина, в которой издала последний, тихий крик и скомочилась на дне лампы, обожженная кинжальным лезвием пламени, неведомая, мелкая комаха.

– Знаешь, Боря, – с налетевшей тоской произнес Хирург. – Скажу тебе притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И вот он рассуждал так: что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих. И сказал: вот, что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу весь хлеб и все добро моё. И скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу возьмут у тебя, кому же останется то, что ты говорил?» Так вот, не случится ли с тобой то же самое? Средства, какими ты намереваешься пользоваться, не от Бога взяты будут. И не на любви к ближнему хочешь построить дом свой. Твоя философия – философия застывшей лавы, которая всеми силами будет пытаться забыть, что под нею клокочет огненная стихия. Кроме того, помни: ты – русский, и в твоей душе обретается древняя страсть путника, ищущего Града Божьего, для которого безмерная ширь и воля важнее всего. Это проснется рано или поздно. Тебя же сейчас обуяла алчность, тогда как великое приобретение жизни – просто быть, жить и уметь радоваться этому. Алчному же – хоть весь мир отдай, он все будет говорить: «Мало!». Так рассуждают протестанты. У них нет Бога как такового. То есть он есть, но,

скорее, в качестве идола, пред которым можно покаяться в чем угодно. И он простит и предательство, и ложь, и намеренное убийство. А дальше можешь делать все то же самое. И лгать, и убивать, и предавать. Покаяния, искреннего, православного покаяния у них, у наших заокеанских друзей нет. Да и ты сейчас не русский, вспорхнувший за золотой бабочкой. Рабство ты уже ощутил на собственной шее. Что же, теперь будешь мазать этим дерьмом других? Худо, Боря. Не о таких людях, как ты, мечтает Россия. Не о таких, Боря. А теперь спи. Ну тебя ко всем чертям. Надоел ты мне. – Хирург устало поднялся и вышел по ноющим, старым доскам вагончика наружу, в мокрую, налитую запахом хвои, темень. Сейчас он казался себе таким же обожженным мотыльком с подгоревшими крыльями, оставшимся лежать на доннышке лампы. Не было ни сил, ни желаний. Рядом глухо урчала река. Из глубины леса вырвался и тут же задушено стих далекий звериный крик.

Хирург вздрогнул. Невольное чувство хрупкости всего живущего овладело им. В который раз! Он вдруг испытал отвращение ко всякого рода суетной деятельности. Кто придумал, что праздный ум – мастерская дьявола? Напротив, чистый ум или праздный ум – мастерская Бога. Конечно, черные силы поселяются в уме, обуреваемом безудержной деятельностью. И Борис не исключение. Он молод, он бежит и проваливается то в одну, то в другую яму. Соблазнов много, а ум, как кочерга. Ему нет покоя. Он весь в суете. И вот уже дьявол начинает руководить им. Он никогда не скажет: «Остановись!», «Расслабься!», «Поразмысли». Он говорит: «Действуй! Делай, что угодно, но действуй. Двигайся! В жизни надо успеть!»

На самом деле, стремиться успеть не нужно, потому что именно тогда и не успеешь. Все великие осознали: неспешный ум позволяет божественному войти в него. И быть в нем нетленно. По природе ум пуст, но он содержит в себе все, что нужно.

Иисус сказал: «Если будешь цепляться за себя, потеряешь...»

Хирург невольно, словно по чьему-то велению, обернулся и посмотрел в направлении Шамана. На том месте, где стояла белоглавая сопка, мреял огромный мутно-золотой равносторонний треугольник с легкими красными шарами по углам. В центре же эта геометрия имела ясно различимый зрачок, недвижно взиравший на Хирурга испытующе строго. Под этим взглядом Дмитрий Валов вдруг почувствовал, как усталость и немощь слетели с него, будто шелуха, а тело стало легче птичьего пера. Оно, тело, медленно поднялось от земли и легко взмыло над тайгой косо вверх. Но кроме этого, Хирург с удивлением обнаружил, что и речка Лайковая, на берегу которой он только что стоял, тоже движется вместе с ним в окруженном звездами пространстве. Наконец растаяли звезды и в абсолютной мерцающей пустоте оказались лишь Хирург, серебристая река и загадочный треугольник с живым оком, все так же глядевшим на лекаря с прежним неколебимым вниманием. Хирург неожиданно увидел себя как бы со стороны. Пугающе большим и прозрачным было его тело. Река уходила в бесконечность. Течение ее стало спокойным и плавным. Треугольник теперь занимал всю оставшуюся часть окружающей площади, если таковая вообще существовала.

Хирург увидел, как сначала произошло некое сияние, наподобие северного, а затем Река беззвучно вспенилась легким серебром. Из Нее родились два солнечно-прекрасных, разнополых существа и, взлетев, как боги, они растворились в бесконечности.

– Радуйся боли! – услышал целитель запредельный голос. – Ибо она есть предвестник рождения и дана как очищение и покаяние. Радуйся заблудшему, поскольку ты способен вывести его из мрака. Радуйся искушению, потому что оно дает тебе возможность и силы противостоять. Имея же эти силы, все низкое сделаешь высоким. Радуйся темному, потому что можешь пролить в него свет. Не беги от этого. Не бойся смерти. Смерть – лишь новое рождение. Следуй за любовью и добром, тогда тебе дано будет, а в жизни – достигнешь. Радуйся!

При этих словах большой, боковой образ целителя неспешно наполнился сначала цветом млечным, затем серебряным и, наконец, золотым.

Хирург физически почувствовал тяжесть в затылке и хотел, было, снять фуражку в знак искреннего почтения пред ровным, могучим и мудрым голосом, но головной убор остался в вагончике, в обычном деревянном вагоне, оббитом обычным ржавым железом. Целитель растеряно обернулся, но ничего не смог различить позади себя. Накатившаяся ночь уже поглотила лес, едва обозначив вверху лишь кромку его ровной стены, а заодно и таежный дом, оставив только бледный конфорочный огонь окошка. Простужено дышало моросью низкое небо. Хирург потрогал покалеченной рукой мокрые волосы и понял, что снова на земле. Он опять повернулся к Шаману, но там была сплошная черная мгла. Где-то рядом все так же неусыпно мурлыкала и кипела в перекатах старая подруга – речка Лайковая.

Хирург поднял голову к небу и медленно, вкусно вдохнул родниково чистый, влажный воздух, ощутив, что вместе с хвоей, речной свежестью в нем растворено еще эхом звучащее: «Радуйся!»

– Ну ты даешь, командир, – попенял Хирургу Борис, когда за тем захлопнулась дверь теплушки. – Мы думали, не уснул ли ты часом где-нибудь под кустом. Живот, что ли, схватил?

– Догадливый ты парень, Боря. И это в тебе – золотое качество, – ответил Хирург и начал стаскивать с себя волглую фуфайку.

Боцман поднялся и открыл настежь дверь. Дым от выкуренных папирос волной стал выливаться в бездонную ночь, а та вмиг наполнила вагон лесным еловым ароматом, хорошо приправленным запахом реки.

– Что ни говори, – сказал Боцман открывшейся ночи, – а море пахнет лучше. Сильней пахнет. Сильней.

– Я не против, – сказал Хирург Борису. – Пойдем завтра вместе. В тайге-то бывал?

– По-настоящему – нет. Так... на экскурсии.

– Вся наша жизнь – экскурсия, – философски заметил Боцман.

– Это точно, – согласился Хирург, – большая экскурсия.

Автобус, наконец, заполз на очередной подъем и остановился. Дальше дорога была ровной, но вдаль виднелся глубокий спуск перед новым, спирально кольцевым витком вверх.

Слева, завернутая в метельное покрывало, сонно стояла тайга. Справа же, в низине, покоилось гранитно-седое плато океана.

– Перекур! – крикнул шофер. – Кому побрызгать – выходи.

Разбуженный народ зашевелился, потягиваясь и зевая.

– Половину отмотали, – сказал кто-то.

Хирург, оторвавшись от воспоминаний, взглянул на местность.

«Пожалуй, что так», – подумал он, припомнив, как года два назад по этой же дороге подвозил его один «веселый» водитель. И именно в этом месте, изумленный видом открывшегося моря, чуть было не свернул, чтобы прокатиться к нему по обрыву.

Старатели с сенокосчиками дружно выстроились у обочины, возглавляемые шофером, одетым, как бросилось в глаза, в черный морской китель с двумя рядами золотых пуговиц.

– Ну, дядя, на тебе кнопок, что на гармошке, – рассмеялся Борис. – Хоть Камаринскую шпарь.

Добытчицам понравилась незлобная Борисова шутка, и они басовито погудели, как шмели, продолжая поливать невысокий снежок.

– А я, слышь, это... – оживился имевшийся у приисковиков личный Гомер. – Еду раз с Киева у Белую Церкву...

– Так, хлопцы, по местам, – скомандовал морской шофер. – Я и так опаздую. Не тянет, холера. Посадют на рухлядь – и колупайся с ей.

Расселись. Машина теперь побежала по ровной дороге легко, ухватисто. Народ достал курево и проветрившийся, было, салон вновь наполнился густым, тяжелым дымом.

– Ага. Дело было летом, – продолжал свое повествование сказитель и поправил на круглом, румяном лице пышные соломенные усы. На голове у него блином лежала белая фуражка, из-под козырька которой весело и озорно светились быстрые рыжие глаза.

– Еду. И как раз же по дороге кум живет. Километров пятнадцать. А время у меня было, что я мог и назавтра вернуться. На мне пиньжак. Ага. При Сталине носили такие. И пугвицыж, конечно, золотые.

Заворачую до кума прямо во двор. А как-то так получилось: давно перед тем не виделись: то работа, то – то, то – это... Жинка кумова давай сразу доставать огурцы соленые, сало. Курку зарезала. Самогона четверть. Все как положено. Ага. Сели в садочке. Вечереет.

Разговариваем. Раз и приходит соседка. Женщина – я тебе говорю. Вдовая. Жаром от нее, как от печки. Села рядом. Ага. Села. Я аж сомлел близом с ей. Грудей у той соседки – мама родная. Что два гарбуза за пазухой. Такая прорва тела в женщине. Видать, она тем своим телом мужа и укатала. Здоровый такой хлопец был, Федя. Я его знал. Комбайнер. И вдруг помер. Говорили – сердце. Ну, правильно, какое сердце ту прелесть выдержит. Слоном надо быть. Но при этом та самая вдовая соседка – Лида имя – сильно образованная гражданка. Одну стопку, другую, третью. И давай смеяться над правительством, министрами, над военными. Главное, мы с кумом замечаем – правильно смеется. Ага. И все она тебе знает: и за Михайлу Сергеевича, и за Лукьянова, и за Пугу. Где, что, когда, с кем. В общем, туда-сюда. Еще по чарке. Тут энтоя самая Лида песняка как вдарит. На всю деревню. Чуть уши не полопались. Ну и кум мой с жинкою рты пооткрывали – голоса показывают. Вот это, думаю, контора. И сам заспивал, аж слезы бежат. Ага. Еще выпили. Давай теперь по брундуршафту целоваться. Тут вдовая Лида мне смехом и говорит, что это, мол, у тебя, Степа, пиньжак такой модный, а сама пугвицы золотые пальцами трогает. Хочешь, говорит на ухо, я тебе массаж через энти пугвицы исделаю. И заливаается горлом – меня прямо в пот кинуло.

Старатели, радуясь за друга, погагатывали, одобряли положение.

– Ага. Говорю: зачем массаж? У меня, говорю, уже есть. Я ж с пьяных глаз решил, что массаж – телевизор такой. На хрена, говорю, мне массаж, когда у меня «Рекорд» стоит. Считаю новый.

Тут у Лиды моей чуть груди с кофты не выпали – так она зашлась вся. Ну умирает, «Рекорд», так «Рекорд». Лишь бы стоял. А я спяна никак не пойму, на что она намекает, заливаючись. Сам же горю, как пожар. Ага. И тут только до меня дошло, когда она головой своей пышной в колени мне упала от смеха, а локоть ейный будто нечаянно в самое мое твердое место и уперся. Меня аж током вдарило. Вот это, думаю, массаж.

В салоне снова раздался взрыв хохота. Гомер же невозмутимо прикурил погасшую сигарету, словно вокруг него ничего не происходило.

Старатели, смеясь, гордились товарищем. Им было приятно, что неиссякает в мужике былая казацкая сила.

– Ага. Ну что? Туда-сюда, – продолжил Степа-сказитель. – Уже ночь легла. Жинка кумова каже: я тебе, Степа, у сарае на соломе застелю. Ты ж, помню, любишь на соломе. Люблю, говорю, а у самого уже, чую, язык из глины. Не годится, думаю. Надо еще чарку спустить. Выпили мы с Лидою. Она все заливаается смехом. Вот баба веселая! Я смотрел, смотрел на нее, и сам стал. Смеюся – не знаю, чего. Пять раз уже бегал в огород отлить. Прибежу, слышишь – обратно смеюся. Аж в животе колет. Ну контора! И так мы с той вдовицей довеселилися аж до самого сарая. Кум с жинкою уже спать полягали у хате. А мы с Лидой гогочем, что те гуси. Ага. Она и шепчет як бы смехом: зараз я тебе тут массаж и сделаю. Аж бегом. Слышишь? И як повалила меня на ту солому, як придавила усем своим телом, усими своими грудями – я и затонул под ними, что подводная лодка. Ага. Так с нею бултыхалися в том сарае всю ночь. Ну что? Утром прокинулся – где штаны, где пиньжак – еле нашел. В голове соломы больше, чем волос. Ага. Туда-сюда. С кумой попрощался, поехал. А сам же ж чуть живой. Вечером

вертаюсь до дому. Жинка каже: что ты, Степа, такой зеленый, як детский понос. Ну, ничего, каже, зараз помоешься, я тебя покормлю, та пойдём спать-отдыхать. Ох, и приласкаю ж тебя! Во я соскучилася, аж не могу. Ты, говорит, где-то едзишь там, а мне тут – страждай. Иди, мойся скорее. Ну, думаю, все. Мне – каюк. Бо жинка дуже горячая на это дело. Тогда, говорю, наливай стакан самогона: сильно я заморился на работе. Но если, хлопцы, вы думаете, что на этом усе кончилось – глыбоко ошибаетесь.

– У меня раз тоже было, – отозвался еще один рассказчик, но Хирург его уже не слышал.

Еще толком не рассвело, когда они, Хирург с Борисом, отошли от стоянки. Низкие тяжелые тучи все так же орошали тайгу водяной пылью. Лес стоял настороженно тихий, тревожный, повитый лишь едва слышным, травным шелестом дождя.

Сначала шли узкой, хорошо убитой в прежние годы тропинкой, петлявшей, как ящерица, по берегу речки Лайковой. Борис то и дело спотыкался с непривычки, громко матерясь в спину Хирургу. Хирург не выдержал. Остановился.

– Ты чего? – осторожно спросил вполголоса Борис.

– Слышишь? – сказал Хирург и показал в сторону реки.

Борис прислушался.

– Что?

– Речку слышишь?

– Ну.

– Лес?

– А что?

– Тебя все слушает, Боря. А ты ругаешься. Тем более по матушке. Это вообще ни в какие ворота. Кто только придумал такую пакость? Нельзя, Боря. Нехорошо. Беду накличешь. В тайге надо ходить тихо. Уважительно. Медведь в двух шагах от тебя пройдет – ветка под ним не хрустнет. А ты шумишь. Не нужно. Тайга этого не любит. Ты же книги мудрые читал. Разве они матом написаны?

– Ну вот, – поморщился Борис, – началось... Понеслась пропаганда.

– Это не пропаганда, Боря. Это здесь закон жизни. Все злое вернется к тебе двойным злом. Доброе сделаешь – добро и получишь. Вот что запомни.

Борис промолчал, достал пачку папирос, предложил Хирургу.

– Спасибо. Натощак не курю. Это все равно, что на живую рану кислоту лить.

– А-а... – махнул рукой Борис. – Пока что здоровья хоть отбавляй.

– Не отбавлять нужно, чума. А прибавлять, – усмехнулся целитель и окинул взглядом экипировку напарника.

– Эх, дундук я старый! – всполошился Хирург. – Как же недосмотрел?

– Что еще? – стал оглядывать себя Борис.

– Ты куда кирзачи напялил, корова? Нам болотами ходить, вброд переправляться, а ты... Вроде не маленький. Ну-ка, бегом. Переодень болотники. Хорошо, недалеко ушли.

Когда Борис скрылся за кустами, Хирург закурил.

– Вот чума, – пожаловался природе. – Детский сад, ей-богу. Никакого понятия.

Он присел на мокрое лысое бревно, и в своей запахнутой плащ-палатке с капюшоном сам стал похож на переломленный бурей или старостью острый ствол дерева.

«Как же ты дойдешь, Витя? – вспомнил тогда последний разговор с Тибетским Виктором перед его побегом из лагеря. – И куда идти? Погибнешь. Тайга на сотни, а то и тысячи верст».

Виктор в ответ засмеялся.

«Вера выведет, Дима. Как-нибудь, с Божьей помощью. А идти нужно все время на юго-восток. Это проще простого. Доберусь до Амура, а там до материка уже рукой подать. Во Вла-

дивостоке – на пароход и прощай, Колыма. Но не вздумай, Дима, идти за мной. Вот ты не дойдешь. Мало в тебе еще высшего знания. Новый Завет, который я тебе пересказал – это только начало. Крепись, Дима. Говори с Богом, как я тебя учил. И настанет твой день. Настанет!»

Тогда начинался июль, и Колыма открыла двери недолгому лету.

На следующее утро после прощального разговора в лагере обнаружили оглушенного охранника без автомата. Он то терял сознание, то его мучило и рвало. Видно, Виктор не рассчитал силы удара, и у военного охранника произошло сотрясение мозга. Плюс ко всему у пострадавшего оказалась сломанной челюсть, потому сказать что-либо вразумительное он был не в состоянии.

Организовали погоню с собаками, но у первого же болота она застряла: вода. Кругом стояла, текла, журчала и бурлила вода.

Хирург часто, на протяжении многих лет пытался вызвать для беседы образ Виктора, но тщетно. В том качестве, в каком являлись к нему души умерших, Виктор не приходил, из чего Хирург сделал заключение, что духовный учитель жив, здоров, а его Вера и умение посредством высшего знания находить с природой общий язык, в конце концов, вывели Виктора к животворной реке Амур.

Конечно, побег из лагеря, в который уpekли Хирурга и еще тысячи подобных ему страдалцев, был безумием, равным самоубийству. Но тем сильнее победа Тибетского странника грела Хирурга, восхищала до скрытой от всех ночной улыбки, ибо та победа была явным доказательством неограниченных возможностей человеческого духа, о коих и проповедовал Хирургу Виктор.

Целитель, сидя на голом, как колено, бревне, так увлекся своими теплыми мыслями, что не сразу оценил посторонний шум позади себя. Когда же чуждый звук заторможено достиг его слуха, Хирург насторожился. Тот, кто произвел за его спиной неожиданный шорох, не мог быть Борисом. Борис ожидался на тропинке, с другой стороны. Хирург осторожно обернулся. Ему почудилось, будто среди сосен мелькнула тень какого-то крупного животного. Но пасмурный сумрак утра еще так плотно лежал в тайге, что разобрать что-либо было невозможно. Тем не менее, Хирург поднялся и, тихо ступая, пошел навстречу Борису – мало ли. Медведя и лося в тех местах водилось предостаточно. Один резиновый сапог чуть поскрипывал, и Хирург поднял палку, чтобы, опираясь на нее, скрадывать противный, ненужный звук. Он прошел метров двести. Здесь тропа резко огибала раскидистый куст, а дальше пересекала небольшую, уже поросшую мелкой травой поляну.

Хирург бесшумно добрался до куста и замер: в пяти метрах от него, чуть присев на задние лапы, задом к целителю стоял медведь, совершая рядовое житейское дело опорожнения. Хирург почувствовал слабость в ногах: с другой стороны поляны вот-вот должен был появиться Борис. Что могло произойти дальше, Хирург не знал. Сердце громко застучало внутри целителя, и он испугался, не выйдет ли внутреннее биение наружу, не услышит ли его зверь. В это мгновение из чащи кустарника с противоположной стороны вынырнул Борис. Он двигался быстрым шагом, что-то напевая себе под нос.

Медведь, не прекращая своего дела, поворотил к нему морду. Их разделяло не более тридцати метров, когда Борис заметил зверя и остановился, напряженно вглядываясь в то, что увидел. Медведь приподнялся и встал на все четыре лапы. Наступило то жуткое, нервно-выжидательное мгновение, упустить которое Хирург не имел права. Он выскочил из-за куста с рвущим тишину криком и ударил медведя палкой. От неожиданности и испуга тот рванул в сторону и, уже убегая, обиженно заворчал. Вскоре он скрылся в тайге, а Хирург почувствовал усталость во всем теле, словно отработал целую смену в лагере. Он сел прямо на мокрую траву и достал папиросы.

– Кури, – предложил подошедшему Борису.

Тот присел рядом. Закурили, пряча от сырости папиросы в кулак. Дым плотно и тяжело поднимался вверх, но тут же таял и растворялся в мороси. Теперь, когда внезапное напряжение схлынуло, Борису стало весело.

– Надо было мне тоже штаны скинуть да присесть рядышком. А ты его палкой, словно это барбос какой.

Успокоено посмеялись.

– Но вообще-то, лихо ты его, Александрович.

– Рыба еще не пошла. Голодно ему. Здесь всего можно ожидать. Хорошо, что бояться они неожиданного, резкого шума. Вот я и поорал слегка. Видишь, почуял он тушенку нашу, к лагерю двигался. К Боцману, конечно, не сунулся бы, а палатку с продуктами разворотить – это для него плевое дело. Собачку бы нам. Да где ее взять?

– Мебелю закажи, он доставит. Только вместо собаки из-за своей дырявой башки козу какую-нибудь слепую притащит.

– Это верно, – согласился Хирург. – Такое за ним водится. В прежние годы Мебель раз в две недели прилетал обязательно. Как, мол, дела? Что нужно? Почту привозил, газеты, журналы. Тут ничего не скажешь. Но насчет дела – действительно беда. Все просьбы запишет в блокнотик. Аккуратно, правильно. Но потом, как пить дать, перепутает. Первый с пятым участком, шестой с третьим и так далее. Понятно, если у человека сплошной склероз и дым в голове – не до хорошего.

Ладно. Мебель Мебелем, а двигаться нужно. Философа необходимо найти. Как нам без философа?

Теперь шли, зорко осматриваясь по сторонам. Впрочем, уже достаточно рассвело. Тропка приползла к обрывистому краю Лайковой и здесь струилась почти по самому его срезу.

Местами берег поднимался довольно высоко, местами же плавно стекал к реке, образуя волнистые песчаные отмели, по которым прибегали в Лайковую быстрые, веселые ручьи, расцвеченные на дне мокро-золотыми кристаллами колчедана.

Сама же река Лайковая имела внутри себя довольно крупный, основательный галечник, и перебираться через стремительные перекаты ее было не так-то просто и безопасно. За перекатами то здесь, то там устрашающе громоздились под выступами берегов завалы из бревен с торчавшими, как боевые копья, отточенными водой, окостеневшими стволами.

На одном из бродов Борис круто оступился, черпанув сапогом ледяной воды. Хирург протянул ему свой посох, но тот, чертыхаясь, выбрался на противоположную сторону самостоятельно. Стащил мокрую резину, вылил из сапога воду.

– Не простудишься? – обеспокоился Хирург.

– Не страдаю, – уязвлено ответил тот.

– Смотри. А то костер разведем, подсушишь портянки, – не унимался целитель.

– Обойдется, – пробурчал Борис. – С костром много возни будет. Не та погода – костры жечь. Все сырое. Время только потеряем. Вот перекусить не мешало бы: живот к спине прилипает. Километров семь уже, небось, отмотали.

Борис был явно в азарте их путешествия. Он действовал быстро и ловко. Сильными, точными движениями крепких рук выкрутил мокрую портянку, аккуратно сложил ее и засунул в боковой карман рюкзака. Из нутра же его достал сухую и привычно, в три приема намотал портянку на ногу.

– Вот и все. Давай поедим, бригадир.

Хирург отрешенно подумал, что когда-то и ему было столько, сколько Борису, и он тоже обладал такой же силой и ловкостью. Когда все это было? Возможно, сын его сейчас столь же хваток и селен.

«Конечно, как иначе», – поразмыслил Хирург, и ему снова, до боли в сердце, захотелось увидеть сына. Они наскоро перекусили и снова двинулись в путь. Чтобы сократить его, нужно

было пересечь топкое болото, и Хирург строго наказал Борису идти след в след. Сам же, помолвившись перед тихим, мертвым полем, осторожно стал пробираться вперед, перешагивая с кочки на кочку. Топь жадно чавкала под ногами, раскачивалась, как застывшее, студенистое озеро. Сапоги утопали во мшистой, зыбкой почве, которую и землей назвать было трудно.

Хирург несколькими тычками палки проверял место своего будущего шага и лишь затем опускал ногу на зеленый обманчивый холмик, всякий раз рождавший потревоженное комариное облачко.

Уже совсем рассвело. Дождь прекратился. Окутанная туманом, тайга стояла напряженно-тихая, безмолвная, будто сама слушала и выжидала кого-то.

Комары назойливо вились над головой, липли ко лбу, щекам и Хирург подумал: лето, вот и настало последнее Колымское лето. Отчего же он раньше не решался улететь на материк или, как говорили здесь, на «землю»? Ведь прошло уже немало времени со дня его освобождения из лагеря.

Все дело было в том, что раньше ему некуда и не к кому было лететь. Искать в Питере родных или знакомых казалось бессмысленным. И лишь недавно, весной, Хирург случайно услышал по радио выступление одного из своих любимых в прошлом учеников, а ныне профессора, заведующего Петербургским кардиоцентром, Гавриила Станиславовича Кренча. Ошибки быть не могло: ни имя, ни отчество, ни фамилия Гаврика, как называл его когда-то Хирург, не попадали в число распространенных. Более того, Кренч, человек необыкновенной честности и порядочности – таким он помнился Дмитрию Валову – в докладе о последних достижениях в области хирургии сердца упомянул своего учителя, то есть его, Хирурга, трагически пропавшего в годы Сталинских репрессий неведомо куда.

Хирург в момент радиопередачи находился в пищеприемной столовке, где хлебал щи из квашеной капусты. Когда он нечаянно услышал фамилию Кренча, то выронил ложку, и она с оловянным бряканьем свалилась на пол. Сам же целитель, ничего не видя, почти наощупь пробрался в туалет, запер себя в кабинке на крючок и впервые за много лет залился мокрыми настоящими слезами.

Теперь ему было, куда и к кому лететь.

«Ты услышал меня, Господи! Услышал!» – шептал воспитанный в бескомпромиссном атеизме лекарь и растирал по морщинистым щекам, покрытым седею щетиной, соленую влагу.

Но об этом происшествии Хирург не доложил никому, даже Боцману, суеверно боясь спугнуть всплывшие на горизонте, заветные очертания новой жизни. Он, разумеется, не знал, что может сулить ему встреча с бывшим учеником. Одно было ясно: вспыхнула, наконец-то зажглась звезда надежды, и Хирург с нежностью поселил ее у себя в душе.

Они прошли уже больше половины болота. До леса оставалось каких-нибудь метров пятьсот, как вдруг пронзительно тонко, неистово завершала какая-то неведомая птица. Хирург поднял глаза и в следующее мгновение едва сумел увернуться от пикирующего прямо ему в голову кулика. Он успел подставить руку и отбить птицу, остро ударившую его в локоть длинным, с иглу, черным клювом. Кулик снова взмыл вверх и зашел на вираж, готовясь к новому броску. Его верная подруга, сидевшая, как видно с птенцами прямо по курсу непрошенных гостей, продолжала отчаянно кричать.

– Вот это истребитель! – восхитился за спиной Хирурга Борис. – Дай-ка я его охреначу палкой в следующий раз.

– Стой, где стоишь, и не дергайся, – предупредил напарника Хирург. – Не вздумай даже замахнуться, корова. Обойдем стороной. Видишь, гнездо у них там.

– Он же тебе сейчас башку насквозь прошибет, – не унялся Борис. – Заметил – клювище, как у орла. Только острей.

– Не прошибет. Всего-то, пташка болотная. Было бы чего бояться, – отозвался Хирург, почувствовав, как сапоги его от долгого стояния на одном месте стали медленно погружаться вместе с кочкой в воду. Он кинул быстрый взгляд влево, затем вправо, но и с одной, и с другой стороны стояли, покрытые жутковатой зеленой ряской, черные, бездонные ямы.

Кулик тем временем заходил к точке нового пике.

Хирург погрузился уже почти до колена.

– Ты что, адмирал, решил затонуть здесь? – спросил Борис наигранно весело, но в голосе его сидел страх.

Кулик, описав над путниками небольшой круг, на мгновение замер в воздухе. Его возлюбленная в этот момент тоже затихла.

Хирург взглянул на следующую по курсу кочку, затем на провальную яму справа и вдруг четко и ясно услышал внутри себя голос, произнесший одно только слово: «Иди!»

И он ступил в болотную зыбь, даже не проверив ее посохом.

...– Да, хлопцы, – продолжал неистощимый Гомер. – Як шо вы думаете, что на том кончилось – глыбоко ошибаетесь. Только, значит, моя жинка угомонилась, ага, дня через три звонок у двери. Мы ж у поселке живем. Ага. Звонок. Жинка – открывать. А я з малым сыном возюся. Бачу – Лида вдовая стоять. Мол, привет от кума. И уже кошелки на стол выгружает. И уже гогочет-заливается. У меня все аж захолонуло внутри. Вот, думаю, чертова баба. Моя говорит: что ж ты, Мыкола, не зустричаешь гостью, а сама так поглядае на меня, что жутко у пузе. Я думаю: значит, она, стерва, допыталась у кумовой жинки адреса и вот тебе – здравствуйте, я ваша тетя. Тут Лида моей уже какую-то кофточку подарила. Уже бежит до малого. Ага. Хватает его и давай танцовать по хате. А у моей яичня на кухне шкворчит. Вот это, думаю, контора.

Старатели любили жизнь во всех ее проявлениях и потому повесть сказителя-земляка воспринимали с большим интересом и волнением.

– Ну и шо? – не утерпел кто-то, когда Мыкола намеренно долго затягивался папиросным дымом, а затем так же блаженно-долго пропускал его сквозь густые пшеничные усы и те еще какое-то время слегка дымились после очередной затяжки.

– Да-а... – вздохнул Мыкола, вспоминая, как видно, критический момент своего прошлого. – Ну шо? Сели за стол. Все чин-чином. Ага. Кинули по стопке. Закусываем. Лида, мол, как тут у вас, у городе. Шо, мол, почем? Сколько сало? Тряпки? Туда-сюда, в общем, бабские разговоры. Я трошки успокоился. Но вижу, что-то тут не то. Что ж, думаю, насчет сала, что ли, она узнать приехала? А моя Валька спрашивает: «Ну и как там кум? Что у него нового? Как жинзя протекать?» Ага. И тут вдовая Лида открывает вот такие коровьячыи глаза и говорит: «Тю... А что, Мыкола не рассказывал?» Моя смотрит на нее... Ага. Потом, слышишь, на меня. И говорит. Медленно так говорит: «А что он должен рассказывать?» Ага. Та падлючая Лида (я уже видеть ее не могу!) обратно каже: «Тю... Так Мыкола ж был у нас. Еще неделя не прошла». Валька моя говорит: «Шо? Ах, ты, твою мать, давай, докладуй». А что мне докладывать? Я сидю, курю. Кажу: «Ну был у кума. Выпили пару пляшек. Шо ж усе тебе докладывать?» А сам чую: подступает хана. Ага. Вдовая Лида, гадская, говорит: «Э-э-э, говорит, кум – кумом, а дело в другом. Дело в том, что промеж нами с Мыколой сильная любовь произошла». Я аж очи вытрешил. «Любовь, – говорит моей жинке. – Сильная, Валя, любовь меж нас. И думаю, – каже, – Мыколе надо перебираться до меня». Я – прямо язык проглотил. А Валька моя смотрит на меня, глаза блещат. Она ж баба огненная. Щас, думаю, убьет к едреной фене. «Какая, – говорит, – промеж вас любовь была?» А сама сковородку за ручку трогаить. «Да ты шо, – кричу, – Валя, дурная? Ты ж бачишь, Лидка белены объелася». Тут уже Лидка как заорет: «Это я белены объелася?! А хто мне у соломе любовные признавания делал? Хто укрывал белым пиньжаком с пугвицами? Га? Хто жениться обещал?» И как заревет, что корова на родах. Ага. Тут моя Валька той сковородкой мне под самый глаз як засветит, аж колбаса к стене прилипла.

Гомер закурил новую папиросу, ожидая, когда поутихнет новый взрыв хохота.

– Ну? – не выдержал теперь старатель в волчьей шапке, сотрясаясь и пунцевея от прератностей жизни.

– А что? – продолжил после паузы пострадавший Гомер. – Захватила моя жинка ту вдовую Лидку, кошелки ей в руки, кофточку туда затолкала. Забирайся, каже, чтоб и духу твоего не було. И, забудь, каже, дорогу. Ага. Лидка ревет. Малой мой ревет. А я за глаз держуся. Ох и контора... Неделю ходил перебинтованный. Такой синяк выскочил – аж на полморды. Начальник колонны да и усе кругом говорить, слышишь, ты где это, Петренко, говорить, воевал? И гогочат. А я что им скажу? Смейтесь, говорю. Не приведи Господи вам такое.

– Ну а жинка?

– Что жинка? Недели две не подпускала.

– А потом?

– Потом?... – Мыкола улыбнулся. – Постель усех мирить.

...Хирург шагнул в черный омут, но на удивление нога его не только не провалилась, напротив, он словно выбрался на более прочное место, где вода едва достигала щиколотки.

Кулик совершил еще одну пикирующую атаку, однако на сей раз она была больше предупредительной, чем боевой.

Забрав вправо градусов на тридцать, Хирург с Борисом благополучно достигли леса. Куличиха успокоилась, и вокруг вновь воцарилась дремотная тишина.

– Вот так, Боря, – сказал Хирург, сделав небольшую передышку. – Никому не делай и даже в мыслях не желай зла – и по морю пройдешь.

– Я не Христос, – ответил Борис. – На мне грехов, что на твоём кулике перьев.

– Да ты никак Библию читал? – приятно удивился Хирург.

– Я, между прочим, крещеный, – сказал Борис. – И Библия была моей первой книгой. Но становиться Христом или, что еще хуже, кланяться ему, походить на него – не желаю. У меня своя дорога. И кончим этот бесполезный разговор.

– Дорога у тебя, конечно, своя, – огорчился Хирург. – Жаль только, не ту дорогу ты выбрал.

– Да откуда вы все знаете: ту – не ту. Главное, она моя, понимаешь, моя! – вскипел Борис. – Кругом одни учителя... куда ни плюнь.

– Никаких моралей, Боря, я читать тебе не собираюсь, – возразил Хирург. – Но ведь ты умный парень и знаешь: есть черное и белое, огонь и вода, свет и тьма, добро и зло. Так устроен мир. И между этими категориями нужно что-то выбирать. Серединное состояние приводит к растерянности, да оно тебе и не подойдет: ты не из тех, кто довольствуется половиной или живет в сговоре с совестью. Твой бунт – естественное состояние: молодой, пылкий. Я лишь прошу, бунтуй со смыслом. Думай. Всегда думай, к чему он может привести, твой бунт. Вот представь, например: сшиб ты палкой того кулика. Кто птенцов кормил бы? Да и куличихе бы сердце порвал. В результате малыши могли погибнуть, а значит, нарушилось бы равновесие в природе. Ведь для чего-то нужен ей кулик, раз она его народила. Зря в мире ничего не бывает. А сотвори ты эту беду, убей птаху лесную – и я не уверен, прошли бы мы с тобой наше болото. Зло, я тебе говорил, всегда аукнется. Так что держись добра, Боря. Это мой тебе совет.

С этими словами Хирург набросил на плечи рюкзак, загасил сапогом окурок и двинулся в путь.

Дальше они пробирались узкой, едва заметной тропкой и когда снова вышли на берег Лайковой, неожиданно из-за туч на них плеснуло солнцем. Трава, кусты, деревья вспыхнули хрустальной росой и повисшей на ветках капелью. Тайга ожила, проснулась и стояла солнечно озаренная, сверкающая, словно совершала счастливую, благостную молитву. Вода в реке помолодела, набросила на себя легкую серебристо-лазоревую одежду, и Хирург оценил это явление

как счастье. Ибо иного не знал, а лишь видел или угадывал его где-то далеко за горизонтом. Но то было другое. Здесь же Хирург, сливаясь с красотой мира, не мог даже объяснить ни восторга, ни радости, которые рождались в его сердце, а только пил эту красоту, как священную влагу, упоенно повторяя: «Благодарю тебя, Господи!»

Борис воспринимал рожденную природу по-своему. Ребячливое солнце утра, прыгнувшее из-за сопки на волю, раззадорило его. Оно, словно до отказа, налило каждую мышцу, каждую клетку озорной, упругой силой. Борису захотелось пробежать по берегу километра два-три, а затем с разбега бросить разгоряченное тело в ледяную воду Лайковой и плыть в ней долго, до самого океана. И чтобы удержать внутреннюю, горячую стихию, утихомирить ее, во всяком случае, не обнаружить перед Хирургом, он стал небрежно насвистывать модную мелодию.

Теперь по пути Хирург все чаще начал осматривать мокрую траву, ища в природе следы пропавшего философа. Но то ли дождь за ночь пригасил их, то ли Гегель шел другой дорогой – следов не было.

«Так ли мы идем, отче?» – мысленно обратился к небу старый лекарь, привыкший к заоблачному общению.

«Так», – услышал он краткий ответ и через несколько шагов увидел четкий, не размытый след сапога. Однако было странно, что нигде раньше Хирург с Борисом не обнаружили чужих отпечатков. Значит, Гегель шел тайгою. Зачем?

Хирург вспомнил: он ни разу не задавал странствующему философу этот интересный вопрос и тронул сидящего впереди Гегеля за плечо.

– Слушай, Вася, ты зачем в тайгу нырнул, когда от нас ушел? Двинулся бы берегом. Все равно ведь потом к реке выбрался.

Философ поморгал сонными глазами, снял шапку, погладил редкие волосы и тут лишь до него дошел смысл вопроса.

– А я это... – повернулся он к Хирургу. – Я же говорил: голос был.

– Что же, голос тебе указал лесом идти? – серьезно заинтересовался Хирург, так как голос и для него был явлением знакомым.

– Точно. Так и указал. Ступай, говорит, Василий, в дебрю. Тама путь. Я и пошел. А уже потом ноги сами к Лайковой вывели.

– И часто тебе голос бывает?

– Какой там часто, – вздохнул Гегель. – Если б часто, сидел бы я дома да только его и слушал. А так приходится ходить по свету. Нет-нет и услышишь среди жизни, куда дальше. – Странствующий Василий ближе наклонился к Хирургу и понизил слышимость почти до шепота: – Голос мне однажды знаешь, чего заявил? Ходи, говорит, Василий, в миру. Тама тебе надлежит. Вот я и хожу.

– А польза в том какая?

Гегель улыбнулся.

– Как же это, извини меня, какая? Голос зря не скажет. Беды я не сею. И Он это знает. Хожу, молюсь за всех несчастных. Видно, в том моя есть железа' жизни. Понимаешь, это дело?

– Да, – признался Хирург. – Это дело я как раз очень хорошо понимаю.

– Ну вот, – тихо просиял Гегель. – Любо мне это. А то есть, которые не понимают. Я им все по-человечески объясняю, из Евангелия. Бывает – слушают, бывает – хлеба дадут, а бывает... – Философ запнулся и помрачнел. – Бывает – лицо набьют. Люди разные. Но я не в обиде. Бог им простит. Потому что хочешь – не хочешь, а зерно я зароню. Почва, правда, говорится в Книге, разная попадается. Ну да мне почву не выбирать. Голос сам указывает.

– Значит, ты истину знаешь? – спросил Хирург, с интересом разглядывая странствующего проповедника, словно впервые.

– Знаю, – испуганно, но твердо заявил Гегель. – Отчего же? Евангелия при мне. А истина одна. Возлюби Господа всем сердцем твоим и познаешь любовь к миру. Потому что все сотворено Богом единым.

Хирург еще больше полюбил Гегеля.

– Кто же тебя научил всему?

– А никто. Дал один старичок книгу. Читай, говорит, сынок. А то зубы выпадут, как у меня, а ума не прибавится. Я и стал. И такие мне ворота открылись! Верись – иной раз плакать хочется, как голос услышу.

– Верю, – сказал Хирург и спросил Гегеля: – Зачем же ты тогда вино пьешь, раз истину знаешь и по Божьему напутствию жизнь свою ладишь?

Проповедник вздохнул.

– Грешен. Слаб и грешен. Вино пью от голода и боли. Иной раз за слова мои хлеба не дают, а вином угощают. С вином теплее. Боль тише. Много боли принимаю, на людей глядя. Как живут они неправильно, неисправно. Есть, которые имеют многое, а все им больше надо. Лгут, ругаются, злятся, беду творят. А та беда да на другую как в стопочку складывается. Глядишь, где-то земля лопнула, народ на народ пошел. Кровь льют. Почва терпит, терпит – да и вспыхнет пожаром. Так недолго и всем миром всполохнуть. И как люди того не понимают – диву даешься. А все от незнания законов. Вот я и накручиваю моталку от человека к человеку, из леса в лес, из города в город. Иначе пропадем всем народом. Будет вой и зубовный скрежет. Доходит до тебя эта иллюстрация? Любить нужно – не любят. Едят – пузо трещит. Убить – убьют. А уж поизмываться, на шее чьей-то поскакать – хлебом не корми. Обманут, обворуют...

– Ну, это уж ты больно мрачно, пожалуй.

– Что ж, мрачно... так и есть. Нет, не думай, я людям верю, иначе б ногами не ходил везде и голос не слушал. Только силен дьявол. Силен. Особенно теми владеет, которые в темноте. Вот они и черпают грехов, что икры из миски.

Помолчали, ожидая, пока уляжется сказанное.

– Давай хлебнем, – предложил путешествующий Василий.

– Вы что, сговорились? – осерчал Хирург. – Молвишь одно – норовишь другое. Это как?

– Слаб, – повторился Гегель. – Слаб и грешен. Как вина нет, я об нем не горюю. А как есть – в сердце мне словно туманом кто дышит.

– А голос?

– Голос? Не пей, говорит, Вася. Проповедуешь и допускаешь. Что же получается? Знаю, виноват. Только нет-нет, а не совладаю.

– Не годится, – сказал Хирург. – Надобно совладать.

...К вечеру, отмахав еще добрый десяток километров, Хирург с Борисом достигли искомой стоянки.

Здесь обосновались пятеро косарей, у которых все уже было слажено; кухня и три заботливо окантованных дерном палатки, погреб и даже туалет. Сразу чувствовалось, что мужики тут умелые, и руки у них растут из нужного места.

Хирурга встретили радостно. Каждый из пятерых крепко обнял его то ли по-таёжному, то ли по какому другому дружескому обычаю. С Борисом же поздоровались вежливо, но прохладно, мол, что за птица еще посмотреть надо.

Вскипятили чайник. Каждому была выдана алюминиевая кружка, на дне которой горкой лежала щедро насыпанная заварка. Затем налили в кружки кипяток, и эту крутую смесь еще некоторое время подогревали до кипения на костре. Лишь после такой процедуры косари считали таежный чай готовым к употреблению и пили полученную горечь без сахара мелкими глотками с особым кайфом. Теперь можно было начинать разговор.

– Вот что, ребята, – сказал Хирург бородатым мужикам. – Вы знаете: четверо нас прилетело. Но один парень, ни с того, ни с сего, удалился по неизвестной надобности в тайгу. Следы привели к вам. Что скажите?

– Правильно, – отозвался один пожилой Магаданский бродяга, переодевшийся, по случаю работы в тайге, в новенькое ХБ и пограничную с накомарником шляпу. – Мимо нас он никак не прошел бы. Конечно, был тут. Как же. Переночевал. А сегодня утром двинулся далее. Васька – имя?

– Василий, – подтвердил Хирург.

– Значит, он. Только знаешь, Васька этот маленько тово...

– Чего? – попросил разъяснить Хирург.

– А того, что у него шишка на голове. И главное, растет она не наружу, как бывает у людей, а вовнутрь.

Борис рассмеялся.

– Видишь, – сказал он Хирургу. – Посторонний человек, и тот сразу обнаружил, что у пастыря нашего с крышей не все в порядке.

– Ты, Боря, пей чай и помалкивай, когда старшие беседуют, – порекомендовал Хирург. – Тут твои комментарии не требуются.

– Ладно, – обиделся Борис. – В принципе, мне на твоего Гегеля наплевать. Он для меня никто. Пустое место.

– Ну, дальше, – поинтересовался Хирург у старого бича. – Как это ты шишку выявил?

– Да как... Очень просто. Васька твой, едреньть, нарисовался вчера под вечер. Ну мы-то его видели в твоём отряде перед отлетом. Спрашиваем: ты, мол, зачем тут забрел, едреньть? Заблудился, что ли? Нет, отвечает. Я здесь каждую дорогу наизусть знаю. Что же тогда, едреньть? Почему? Чего, мол, тебе тайгой колесить, когда твои мужики, небось, сейчас кровавые мозоли набивают? И тут, едреньть, как он понес ахинею, у нас у всех уши засохли. Мол, какой-то голос ему, дураку, вещал: иди по реке через людей и проповедуй Бога. Мы с ребятами переглянулись, думаем: худо дело. Белочка, то есть горячка, человека цапнула. Я его спрашиваю: ты, едреньть, когда, мил-человек, пил последний раз. Последний раз, отвечает, принял стаканчик вместе со всеми. Как положено. Перед отлетом. Но, мол, вы не думайте, я не какой-нибудь алкогольный пропойца. Я, говорит, веру имею и должен эту веру, едреньть, людям донести, потому что я, мол, существующий православный христианин росейский. Носитель истины и света. А вы (это мы, значит) вы, говорит, темное стадо и живете во мраке, едреньть. Потому я сейчас буду вас просветлять на примере Бога нашего. Мы обратно с мужиками переглянулись, думаем, едрена корень, кого только на Колыму не заносит. И главное, уставшие, как собаки, а тут эта холера еще вылезла из леса. А Васька ваш все свое гнет. Вот ты, мне говорит, едреньть, в Бога веруешь? Тут я совсем озверел. Пошел ты, говорю, знаешь – куда. Чего ты в душу лезешь? Веруешь – не веруешь... Какое твое дело? И что мне до твоего Иисуса? Я сам себе Иисус: всю жизнь крест ташу, какой тебе, придурку, и не снился. Ну и, конечно дело, понесло меня по кочкам... бога твоего, кричу, в гробу видал в белых тапочках. Что-нибудь, едреньть, он мне хорошее по жизни сделал? Хоть я все детство свое деревенское в церкви провел. Смотрю, у Васьки вашего морду всю перекосило, он и говорит мне: стало быть, ты есть природный фарисей и отступник. Ах ты, думаю, гад... Это я – фарисей?! Ну шас я тебе скулу сворочу, едреньть. И только было собрался треснуть его по роже, гляжу, он слезами залился, как дитя малое. Я, конечно дело, сразу и обмяк. Тут только до меня и докатило: шишка у человека в голове. Здесь ничего не поделаешь, едреньть. Не доглядел ты его, Хирург. А я, видишь, обнаружил болезнь. Правда сказать, исключительно через эту нашу паскудную беседу. Смекаешь, какой бывает в человеке тайный нарост?

– Ну и дальше? – хмуро спросил Хирург.

– Дальше? Что ж, мы народ россейский, таежный, едренить. Видим, мужик в беде. Не горюй, говорим. Утри сопли – не баба. Перед нами реветь не нужно. Мы этого не переносим. Обидеть не хотели, тем более Бога твоего. Только у нас свое, а у тебя, стало быть, свое. Подвигайся, говорим, Вася, к столу, поешь, поночуй, а завтра двинешься, куда тебя голос завет, раз уж у тебя такая путина судьбы. Вот он, значит, взял портфельчик свой дурацкий, едренить, поклонился, перекрестился. Спаси Бог, говорит, за приют. Ну, что. Мы ему харчей накидали в заплечный мешок. Ступай, мол, едренить, ежели ты планетарный ходячий. Только по дороге, я говорю ему, ключ поищи. Какой ключ, спрашивает. Атакой, объясняю, что к людям, когдаходишь – ключ надо иметь. Потому что, мол, ты сразу темным стадом нас окрестил, едренить. Сам пойми, кому это дело понравится. Понятно, все остальные твои слова в дурь превратились. Ясно, мы такое обращение не уважаем. Он постоял, подумал, едренить, потом говорит: простите, наверное, вы правы. Я теперь у Бога буду прощения просить. Ну и все. Побрел дальше своей дорогой. Больше мы Василия твоего блаженного не видели. Малый-то он, видишь, неплохой, едренить, но шишка дурная у него в голове имеется.

– А у кого она не имеется? – вдруг высказался Борис. – Человек к вам с Богом пришел, а ты ему чуть рожу не расквасил. Выходит, что вы все темное стадо и есть. Нет бы, посидеть с ним, поужинать, а там уж за чаем и выяснить, что к чему.

Бывалый в пограничной шляпе от Борисовых слов аж поперхнулся.

– Ты кого привел? – спросил он Хирурга, откашлявшись.

Целитель растерялся. Он и сам не ожидал в разговоре такого зигзага.

– Извини, Хирург, – покался лесной работник. – При всем нашем к тебе почитании мы твоему сопляку, едренить, должны немножко мозги поставить на место. Правильно я говорю, мужики? – обратился он к своей бригаде.

Те молча, отложив чаевничать, начали подниматься.

Одним прыжком Борис вскочил на ноги и пружинисто встал в боевую стойку.

– Вот что, ребята, – сказал он. – Я могу положить всех вас вокруг костра за три минуты и отвечаю за свои слова. Но мне неудобно перед Хирургом. Я не хочу, чтобы он болел и переживал за нашу разборку, а потому – лучше кончим это дело миром.

– Верно, – опомнился Хирург. – Неужели драться будем, Саша? – спросил он таежного соседа. – Как-никак – столько мы с тобой... Все лето впереди, мало ли. Ваша беда – наша беда. А рассоримся – что хорошего. Ты это знаешь, не первый год вместе. На друга моего не обижайтесь: молодой, горячий.

– Добро, едренить, – трудно согласился Саша, усаживаясь на прежнее место. Расселись и остальные воины.

– Благодарю Хирурга, – высказал Борису еще один сенокосный работник, коренастый, кряжистый, по-кабаньи сильный человек. – Нам начхать на твою куньфу или еще чего. Будь у тебя хоть десять черных поясов, хоть обмотайся ими с ног до головы. Все равно зарыли бы тебя где-нибудь в тайге и ни одна курва не узнала бы, куда ты делся. Утоп в болоте, заблудился, мишка задрал. Кругом – вечность, а у тебя голова дурная.

Борис смолчал. Могло, конечно, быть и так, как разъяснил ему крепыш. За время, проведенное на Колыме, он уже знал крутой нрав северян, знал, что в случае чего они церемониться не станут.

– Значит, – сказал Хирург после затянувшейся напряженно повисшей над таежниками паузы, – с Василием у вас общего лада не получилось?

– Черт его знает, – отозвался один косарь в нахлобученной по самые глаза шапке, которую, похоже, он не снимал никогда, даже во время ночлега. – Может, он действительно с добром шел. Но нет у него той жилы – к людям войти. Понимаешь – нет. И вся песня. Ну а ежели нет – не наша вина. Пойми, пожалуйста, эту ерунду.

– Вы и баню поставить успели? – неожиданно спросил Хирург таежного соседа Сашу, так как заметил, что во время разговора с любителем шапок тот постоянно вздергивался и почесывал то спину, то грудь, то интимные места.

– Баня с прошлого года сохранилась, – сообщил Саша. – А что, помыться желаешь?

– Дай ему ножницы и бритву, – указал Хирург на чесавшегося. – Пускай все с себя состригает и сбрасывает. Остальным – срочно топить баню. Иначе вы все вшами покроетесь с ног до макушки. А ты, – обратился он к страдавшему от паразитов, – скидай все барахло и то, каким еще пользовался, в ведро – кипятить. Вместе с шапкой. Язв на теле нет?

– Вроде, нет, – испуганно ответил вшивый сенокосчик.

В этот момент Саша принес ножницы и бритву.

– Ну и вот, – сказал Хирург больному. – Действуй. Ступай к речке и удаляй с себя все волосы, какие есть. Понятно? Удаляй до полного голого состояния. Затем – в баню. Хлещись венником до седьмого пота. Уразумел? Не дай бог, заразишь мне тут кого-то. Шкуру спущу, – припугнул Хирург.

Но этого уже и не требовалось. Страдавший вшами на бегу судорожно сдергивал с себя одежду. Остальные принялись колоть дрова, носить из ручья воду, растапливать в баньке печь. К вечеру, распаренные, краснолицые, посвежевшие, омытые ледяной ключевой водой, мужики собрались в теплушке на веселый ужин. Усталость от былых трудов слетела с бичей вместе с многомесячной грязью, как старая мертвая кожа. Все теперь сидели разомлевшие, словно родные братья, в состоянии полного покоя и блаженства. Бывший носитель вшей был особенно радостен и не переставал восхищаться стратегическими действиями Хирурга в отношении нательных гадов.

– Сам бы я навряд от них, сволочей, избавился, – напевно басил он. Всю зиму страдал. Один раз, – ну уже неважно было, – сунулся в поликлинику, а там – тетка, врачиха, в золоте вся и зубы рыжие. Как заорет на меня! Катись, кричит, отсюда! От тебя псиной воняет. Да еще вшей притащил. Я, конечно дело, сказал ей пару ласковых, потому что перед этим «Лесной воды» стаканчик выпил. А тут – мусорок откуда ни возьмись. Кинули меня в каталажку. Сутки просидел, вот и все лечение.

Выбритая голова этого, наконец излечившегося, по имени Афанасий, была теперь круглой и чистой, как полная луна. Он торчал у печки, помешивая кашу из концентратов, так как в наказание за тайный провоз в тайгу зловредных насекомых был назначен бригадиром Сашей регулярным поваром на весь сезон. Но Афанасий ничуть не огорчился, ибо посчитал приговор справедливым и даже лояльным. Главное – он избавился от страданий и, слава Богу, еще не успел поделиться вшами с кем-нибудь из родной бригады.

После ужина и горячего чаю всех мгновенно сморило, и вскоре лесной народ оглушал тайгу звериным храпом.

С рассветом Хирург с Борисом стали собираться в обратный путь. Было ясно, что следовать за Гегелем – дело пустое во всех отношениях. В любом случае, догнать его не представлялось возможным, потому что странствующий Василий шел верно, быстро и, похоже, нигде задерживаться особо не собирался. Это во-первых. А во-вторых, и в собственном таежном хозяйстве дел было по горло. В-третьих же, Хирург понял и удостоверился, что Гегель перемещается в пространстве не просто из любви к процессу движения самому по себе, но несет в своей чудачьей православной голове определенную благую христианскую идею, посредством которой намеревается очистить и спасти человечество. И в этом, видимо, находит оправдание своего появления на свет Божий. Ну а раз так, решил Хирург, то и пусть. Не каждый день встретишь среди мучеников жизни таких одержимых бродяг со светлой и чистой идеей души.

Соседи теперь уже прощались одинаково тепло и с Хирургом, и с Борисом, приняв его, несмотря на краткую ссору, за своего. И это тоже обогрело старого целителя, еще раз убедив его в том, что в корне своем добр, широк и незлопамятен русский мужик.

Пострадавший от вшей Афанасий, в кипяченой, еще сырой шапке, подарил в знак дружбы Борису зажигалку, сказав: «Пользуйся, земляк. Не чужие теперь. В одной бане колошматились. Вещь, – указал на подарок, – японская, долгая. Я тебе скажу: она и сырой костер запалит, в случае чего».

Борис улыбнулся, расстегнул дождевик, фуфайку, снял с пояса потаенный охотничий нож и протянул Афоне.

– Бери. С этой штукой смело на медведя можно идти. Сам делал. Сталь – высший класс. Борис нажал на кнопку и широкое вороненое лезвие мгновенно высверкнуло в его руке.

– Ухты!.. – восхитился Афанасий, но принять дорогой подарок колебался.

– Бери, бери! – настоял Борис. – Нож дарить, говорят, нельзя. Значит, я тебе так даю. Как деловой предмет. Чисто по-дружески. Дальше этим инструментом спокойно можешь голову брить.

– Что же ты себе думаешь, – сказал Афоня, – обнажая в довольной улыбке белые, ровные зубы, – я теперь до гроба лысый ходить буду? Мне еще жениться охота. На лысых бабы не особо клюют. Сам понимаешь.

– Да ты глянь на себя! – пошутил Борис. – Ты же орел! Второй Котовский. Я за тебя, приедем, любую магаданскую красавицу сосватаю.

– Ладно – врать, – совсем обрадовался «Котовский». – Туда еще дожить надо...

Пятеро таежных косарей еще долго стояли на берегу, провожая путников, шедших по краю крутого обрыва навстречу вихревой, быстротечной реке Лайковой.

Шли молча узкой тропкой. Хирург, как и раньше, впереди. Борис сзади.

Погода прояснилась. Легкие облака беспечно, словно на чьем-то дыхании, плыли в неведомую даль, то меняя очертания, то и вовсе рассеиваясь под теплыми лучами выглянувшего солнца.

«Шаман», видимый с любой стороны, сиял снежной вершиной, и Хирургу казалось, что вот это и есть Вечность. Безмолвная тайна мира, которую не выразить никакими словами, не передать чувствами, ничем не измерить и не оценить до конца. Прекрасная, неохватная Вечность, равная, может быть, той самой, куда отправляемся мы, отбыв свой срок страданий, печалей, радостей, всего того, что на земном языке называется жизнью, которая, возможно, и сосредоточена лишь в одной яркой вспышке этого неповторимого таежного утра, слитого воедино и с первым поцелуем, и снежинками на ресницах любимой, и рождением ребенка, и радостью спасения человеческой жизни.

И, глядя на умытую, сверкающую тайгу, на облитые золотым светом сопки, Хирург неожиданно пришел к заключению, будто нет у человека долгого вчера, именуемого прошлым, потому что прошлое – пролетевший сон, так или иначе отсеявший всю горечь бытия, но оставивший драгоценные крохи, какие уносятся душою в последний день за пределы мира.

Нет и завтра. Потому что завтра – иллюзия, недостижимый горизонт, столь же манящий, сколь и призрачный. К тому же – никто не знает, что с ним будет завтра.

Есть только сегодня! Вспышка размером в целую жизнь. Величина огромная, как космос, и в то же время необыкновенно малая, схожая с крупинкой пыльцы на крыле бабочки.

И что же?..

«За время этого ослепительного, но краткого сияния так много можно успеть содейть добра и так преступно мало мы успеваем сотворить его, – подумал Хирург. – Неужели Тот, Высший, непостижимый Разум был заинтересован в том, чтобы я сумел сделать гораздо меньше, чем мог?»

«Неужели тебе так было угодно, Господи?» – мысленно спросил Хирург, глядя в голубой прогал между облаков.

«Ты нужен был там, где ты был нужен», – прозвучал ответ внутри целителя.

И Хирург понял: все правильно. Значит, так назначено судьбой, а роптать и жаловаться – грех и слабость. Он пожалел об этом и достал пачку папирос.

Они остановились покурить как раз в том месте, где под обрывом натащило и сбило в одну ошеренную грудку с заточенными водою остриями старые, голые бревна.

– Не дай Бог попасть в такой залом, – сказал Хирург. – Года два назад бурей навалило.

– Да уж, – согласился Борис. – Будешь, как селедка на вилке.

– Вот что, – сказал Хирург, шурясь от яркого солнца. – Не принимай мои прошлые, поучающие слова как некую мораль или хоть какое-то подобие морали. Упаси меня Бог от нравоучений. Мне всегда кажется, что я как врач должен что-то преобразовать в людях. Но не уничтожить, пойми. Не разрушить. Ничего нельзя разрушать, потому что тогда распадается целое. Это, кстати, беда цивилизации. Она постоянно что-то разрушает, и от этого человек становится неврастеником. Целое нужно беречь. Тогда все попадает на свои места. Я не хочу чему-то говорить «нет». Не хочу раздваиваться и чему-то говорить «да», а чему-то – «нет». Бог дал нам этот мир, чтобы мы принимали в нем все. И хорошее, и плохое. Видишь, с позиции обывателя или стража порядка мы – бродяги, мусор, шелуха, нарушители. Тем не менее, мы люди. Никто из нас не выбирал свою судьбу, хотя многие сделали ее собственными руками. И все равно, никто не вправе порицать нас, тем более говорить нам «нет». Я не создавал гнев, жадность, алчность и не могу это уничтожить. Могу лишь предостеречь с высоты своего опыта. И, наверное, поступаю неправильно, потому что каждый должен иметь свой личный путь. Потому что, – рассуждал уже как бы сам в себе Хирург, – небес можно достичь, когда пройдешь все круги Ада. Так что не обижайся, Боря. Иногда меня заносит, старика. Все полно смысла: наше бродяжничество, страдания, твои устремления к шикарнейшей жизни... Без этого нет просветления. Так устроен мир.

Река впереди, перед завалом, была шире, глубже, но именно здесь, в этом месте, где сгрудились бревна, она резко сужалась, распавшись на две ветки, одна из которых почти полностью перекрывалась остроконечным, словно поваленным, забором.

Течение тут казалось быстрее, яростнее. Вода зло кипела и бешено набрасывалась на упрямую преграду, но порушить ее, видно, была не в силах.

– Куда дальше, бригадир? – спросил Борис.

Хирург огляделся. Вокруг все также безмятежно сияла тайга, будто ей не было никакого дела до всего, что творится в мире.

– Дальше, Боря, дойдем вон до того мыса, – показал Хирург на изгиб берега в полукилометре от них, – а уж там станем перебираться на другую сторону. Там, перед переправой, посидим, подумаем каждый о своём. И – вперед.

– Это еще зачем?

– Что – зачем?

– Ну это... сидеть, думать.

– Традиция такая, Боря. Знаешь, среди сопки есть одна с очень крутым, тяжелым перевалом. Так вот сопка эта называется: «Подумай». Все шоферы, перед тем как въезжать на нее, останавливаются, закуривают и размышляют обо всей своей прожитой жизни, поскольку никому не известно – будет она, жизнь, за перевалом или нет. А нам предстоит перейти опасный брод. Что-то вроде той сопки. Сколько лет хожу через него, но никогда не знаю: доберусь ли до другого берега. Течение бешеное, и глубина почти до промежности. Вот и бредешь, как по минному полю. Сорвешься – понесет прямо на залом. Словом, получится из любого из нас, как ты сказал – селедка на вилке. Можно, конечно, обойти брод, да уж слишком далеко. И не к лицу нам.

– Это верно, – согласился Борис. – Гегель прошел, а мы что – хуже?

– Я тоже думаю – не хуже, – сознался Хирург. – Среди этой местности есть еще одна горка с очень веселым наименованием. Называется сопка: «Дунькин пуп».

Борис улыбнулся.

– И вправду, забавно. Через почему же такое наречение вышло?

– А через потому, что когда-то, впрочем, еще сравнительно недавно, по тайге бродило изрядное множество мойщиков золота. Да и с приисков нижние трудящиеся утаскивали драг-металл гораздо свободнее, чем теперь.

– Как понять – «нижние»? – поинтересовался Борис.

– Нижние – значит, рядовой, чернорабочий народ. Сегодня, в основном, тащат верхние. До которых не доберешься – мафия, политики, инкапитал, банки, в общем, известная свора. Так вот, эти нижние да вольно шатающиеся мойщики на перевале одной сопки, в которой проживала некая вдовья бабенка Дуня, меняли золото на спирт. И вот каким интересным образом. Была она, Дуняша эта, как говорили, баба сочная, аппетитная, а кроме того, имела большой, глубокий пуп. Сколько помещалось в это телесное углубление золотого песка, столько же и отмерялось пришельцу спирта. Вот с тех веселых пор сопку и прозвали «Дунькин пуп». Такая, во всяком случае, существует исторически притягательная легенда.

Пятьсот метров до брода путники одолели будто за одну минуту: ноги налились противным холодком страха, который проглотил время и обнажил черту неизвестности.

Ширина реки была здесь не больше двухсот метров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Хирургу с Борисом сесть на траву и, глядя на пенящиеся буруны, немного поразмыслить о жизни, которая могла быть продолжена лишь на противоположном берегу, а на этом она казалась зыбкой и хрупкой, как ветка ивняка.

– К тебе, Хирург, прикасалась когда-нибудь смерть? – вдруг как-то по-детски спросил Борис.

Хирург помолчал, подумав, что у него не хватило бы пальцев на руках и ногах, а может быть, и волос на голове, дабы сосчитать, сколько раз он реально ощущал ее ледяное дыхание, и коротко ответил:

– Бывало.

– У меня тоже, – понимающе признался Борис. – Один раз в Волгограде я попал под парус, перевернулась яхта. Никак не мог вынырнуть. Всплываю, а сверху парусина. Еще раз ныряю – и опять эта проклятая тряпка. И так раза четыре. Началась агония. Какие-то красные круги перед глазами. И словно молния, мысль: «Это конец». И вдруг неожиданно вынырнул. Чуть не захлебнулся воздухом. Лег на спину и начал дышать. Ты не представляешь, бригадир, какое это было счастье: просто лежать на воде, смотреть в небо и дышать. Дышать и знать, что ты жив, что смерть только лизнула тебя, будто сказала: живи, но всегда помни, я есть, я рядом. Потом, правда, еще раз один фраер финкой махнул... сломал ему руку. На том и кончилось.

– В общем, так, Боря, – сказал Хирург, поднимаясь. – Бери палку: она здорово помогает, когда равновесие теряешь. Пойдешь в трех-четыре метра строго за мной. Ноги держи на ширине плеч. Если меня сорвет, даже не пытайся помочь: погибнем оба. Береги себя. Я же, в крайнем случае, выгребу вон на тот островок. А там уж переплыву на другой берег. Ты же иди прямо, держась на большую сосну. Если сорвешься – что есть мочи гребни на тот же остров. У тебя сил хватит. Лишь бы не утащило под бревна, под те копы, где мы недавно были. Все ясно? – спросил Хирург, заправляя полы плаща в штаны.

– Ясно, – ответил Борис, постепенно осознавая, что переправа – дело не шуточное.

Хирург подошел к кромке воды, посмотрел в небо. «Благослови, Господи, – прошептал он. – Спаси и сохрани. Ради сына». Перекрестился, вошел в реку и сразу почувствовал, как ледяные струи железным обручем сжали резину сапог.

По сути, достаточно было пройти половину брода, и опасность осталась бы позади. Но именно шумные, бурлящие сто метров могли стать роковыми. Хирург понимал это, тем более что вся его жизнь прошла под каким-то зловещим ореолом смерти. Потому он двигался осторожно, выверяя каждый шаг, ибо даже столь малое пространство нового шага либо прибли-

жало, либо могло внезапно оборвать встречу с сыном. Кроме того, за ним шел Борис, которого смерть грозила поцеловать второй раз, но уже навсегда. И этого Хирург боялся не меньше, чем нелепой потери своего будущего. Он медленно пробовал носком сапога каждый булыжник, – прочно ли он улегся между другими, можно ли на него надеяться, и лишь потом опускал на камень всю ступню, обязательно страхуя себя упором палки в дно ниже по течению.

Вода уже поднялась гораздо выше коленей, и теперь требовалось особое внимание, которое до острой боли напрягало все клетки, все тело, превратившееся в один электрически гудящий ком. Хирург сосредоточил всю свою энергию на ногах, представив себе, что они – две чугунные тумбы, способные неспешно, но несокрушимо передвигаться, будь перед ним хоть Ниагарский водопад. И действительно, в какой-то момент он почувствовал эту свою несокрушимость. Шаги стали увереннее и тверже, несмотря на усилившийся поток воды. Хирург успокоено уверовал: они с Борисом пройдут. Пройдут непременно. Борис шел сзади и, глядя на Хирурга, делал все так же как он. После двадцати, тридцати оставшихся позади метров он тоже успокоился, и переправа перестала представлять для него некую смертельную опасность, о которой так серьезно предупреждал его накануне старший попутчик. Борису казалось, что телом он владеет в совершенстве и никакая потеря равновесия ему нисколько не грозит. Быстрое течение и зыбкое дно реки лишь возбуждали в нем физическое сопротивление, походившее на игру или соревнование со стихией. Подумаешь, какие-то двести метров брода! Он мог бы пройти их, если бы не едва передвигавшийся впереди Хирург, минут за пятнадцать-двадцать. Не больше. Но приходилось волочиться сзади. Это раздражало Бориса.

– Командир! – резко позвал он Хирурга, стараясь перекричать шум Данковой. – Нельзя ли быстрее?!

Хирург, сосредоточенный на каждом шаге, вздрогнул от неожиданности окрика, обернулся и потерял равновесие. В следующую секунду он ощутил, как властная, могучая сила реки сорвала его с места, подбросила на волне и стремительно понесла вниз, в узкий рукав Данковой с тем завалом бревен, ощерено маячивших вдали острыми копьями.

Изо всех сил Хирург стал грести к острову, разделявшему реку на две части, но мешал плащ, мгновенно вырванный водою из брюк и неумолимо тащивший к роковому месту. Растегиваться и сбрасывать накидку не было времени. Мешали и сапоги, которые теперь стали тяжелее железа. К тому же ледяная вода сводила мышцы до судорог. Но у Хирурга не оставалось выбора: краткое время жизни стало очевидным. Напрягая все силы, он отчаянно греб и греб руками в направлении острова. Иногда ноги Хирурга цеплялись за дно, однако в этом не было спасения. Его тут же срывало снова на глубину и беспощадно сносило в узкий коридор смерти.

Оценивая расстояние до острова, скорость Лайковой и свои силы, Хирург понимал, что он не успеет не только доплыть до берега, но даже попасть в маленькое пространство реки между завалом и островом.

И все-таки, он греб из последних сил.

Хирург полностью положился на Бога, потому что Бог в работавшем еще сознании Дмитрия Валова не должен был оставить его в беде, не мог бросить Хирурга в лапы смерти. Так и не повидавшего сына. Ведь он, Дмитрий, жил чисто, не творил зла, нес свой тяжкий крест, сколько мог, и совершал в жизни только добро даже там, где, казалось, совершить его уже было нельзя.

Сейчас, в последние мгновения перед вспышкой, которая должна была отсечь от Хирурга его бессмертную душу, он различал перед собой в смешавшейся кипени воды, в кратких всплесках острова, в голубых проблесках неба лишь одно – облик сына, не однажды являвшийся к нему среди горьких лагерных снов. Сына, которого никогда не видел, а только представлял себе по своему же юному образу. Иначе, казалось Хирургу, и не могло быть: одна кровь, одна плоть, и потому Хирург работал покалеченными руками за пределами сил и возможностей. Лишь на миг он вспомнил о Борисе, подумал, как он там один. Но эта сверкнувшая мысль мгновенно растаяла, потому что думать о чем-либо или ком-либо было уже некогда. Это

была неистовая, смертельная схватка с каким-то невидимым чудищем, неумолимо тащившим Хирурга на когтистые острия мертвых деревьев. Хирург чувствовал, что проигрывает, что ему не вырваться, и что кончина близка, как никогда прежде. Но и никогда прежде ему не хотелось так жить, как сейчас, когда в душе все последнее время щемяще ютились и надежда, и вера в будущее.

Хирург в последний раз взглянул, где он, и уже с каким-то смиренным спокойствием согласился на проигрыш. Сил больше не было.

Его несло в самую гущу завала, до которого оставалось не более ста метров, равнявшихся примерно пяти минутам жизни.

Вихрем пролетело в мозгу Хирурга все его прошлое – сплошная череда мук и страданий, постоянная извечная борьба добра со злом. «И вот он – финал», – успел холодно и равнодушно подумать Хирург.

...Целитель вздрогнул от визга тормозов и очнулся. Морской шофер остановил автобус и открыл дверь. В салон просунулось непонятное существо в черном осеннем пальто и нахлобученной на глаза собачьей шапке с отвернутыми мохнатыми ушами.

Подобранный посреди тайги человек с трудом взобрался по ступенькам и, кивнув сидевшим на первом сидении сонным старателям, хрипло сказал:

– А ну, подвинься, рыбаки!

Старатели молча повиновались, поскольку запыленное снегом явление неожиданно оказалось женщиной. Обыкновенной старухой с выбившимися из-под шапки прядями седых волос. Вдобавок бабуся была пьяна, а из кармана у неё произрастала початая бутылка водки, заткнутая свернутой из газеты пробкой.

– Тебе докудова, тетя? – полюбопытствовал морской водитель в кителе, выглянув из-за своей загородки.

Старушка окинула его туманным взглядом и объявила низким голосом:

– Езжай прямо, моряк. В поселке я выйду. Понятно тебе мое положение?

– Понятно, – сказал водитель, передернул со скрежетом рукоятку передачи скоростей и нажал на газ.

– Ни хрена тебе не понятно, – с грустью посетовала старая женщина и вдруг громко, на весь автобус запела:

Опорожнена чарка  
На пути от сумы до тюрьмы,  
Конвоир да овчарка,  
Да беспамятный снег Колымы.

– Где ж ты гостевала, бабушка? – поинтересовался один из пассажиров, когда старушка оборвала свою песню.

– Да где жа? – удивилась выпившая странница, словно все должны были знать, где тут, посреди тайги, можно напиться. – На лесопилке. С Федькой мы хлопнули три бутыл... Не-е, вру. Две хлопнули, а третью он мне в дорогу в карман дал, Федька.

– Что же, праздник, какой? Или так... со встречи?

– Праздники... Я уж забыла, какие они есть, праздники-то. В сорок втором, девчонкой еще, партизанила, вывела весь отряд из окружения. За это – вон чего... – Бабуся красными от холода пальцами растегнула пальто, встала и, держась за поручень одной рукой, другой отвернула полу одежды и показала всем гранатово сверкнувший на груди орден «Боевого Красного Знамени». Села, не застегнувшись. Бутылка с самодельной пробкой при этом вот-вот грозила

вывалиться из кармана. Один из старателей, заметив возможную для женщины неприятность, заправил ей бутылку поглубже.

– А то упадет, – оправдался он.

Седая старушка с любовью посмотрела на него, как на сына, и предложила:

– Хочешь выпить, рыбак?

– Нет, – смущенно отказался заботливый старатель. – Мне нельзя. Я, видишь ты, на работе нахожусь.

– Правильно, – одобрила бабушка. – На работе не пей. На работе только лодыри пьют. Да... вывела их из окружения: местная была, всякую тропинку в лесу знала, – продолжила новая пассажирка. – Потом – ранение. Госпиталь. Бло-ка-да, – произнесла она, словно вглядываясь в какую-то далекую страну – Фронт. – А потом... – Старушка громко вздохнула. – Потом Колыма. – Она махнула рукой. – Чего рассказывать? У каждого свое. Теперь – вот живу в поселке. На Клепке. Почему – Клепка? – видимо, не впервой удивилась отгостившая у какого-то Федьки бабуся. – Не Заклепка, не Приклепка, а именно – Клепка. Черт ее знает. Живу. Пять котов. Один полосатый – Матрос. Второй – Борька-проказник. Третий – Иуда: все норовит к соседям сбежать, но хороший, ласковый, пушистый, как заяц. Четвертый – Мишка: спокойный, спит весь день. Пятый – Барбос: все стащит, чего не оставь. Бичи у меня ночуют, прячутся. Куда им деваться? У каждого свое горе. Участковый, гадина, с облавой ходит. Я, говорит, тебя, Николаевна, посажу когда-нибудь. А я ему пошел ты на... отсюда. Я уж насиделась в своей жизни, слава тебе, Господи. Ты меня еще страшать будешь, паскуда. А он: если б, говорит, не орден да преклонные годы, давно бы ты у меня за решеткой песни пела. А ну их всех к такой-то матери! Век мой пролетел, сгорел, как свечка. То война, то тюрьмы с лагерями. Реабилитировали. Ну и что? На хрен мне их реабилитация? Слава богу – пенсию платят. И ладно. Мне и котам хватает. Вот такие дела, рыбаки. На Клепку приедем, автобус там полчаса стоять будет. Пойдем ко мне, ребята! Погреемся. Котов моих посмотрите. Выпьем по чарке. У меня еще диколончик дома есть. Согреемся. А потом уж я спать лягу, а вы дальше поедете. У каждого свое. Обложусь котами и буду спать. Вот и весь праздник, рыбаки. Ты говоришь – жизнь. А была ли она у меня, эта жизнь? Не было ее, голуби мои, чайки морские. Не было. А раз не было – уже и не будет. Понимаете мое положение? Ничего вы не понимаете! Ну и слава богу, что не понимаете. Не нужно это вам понимать.

Старатели пригорюнились. За какое-то короткое время перед ними тяжелым комом прокатилась, шелестя муками и болью, чужая судьба. А за простыми словами седой женщины таился некий печальный, грозный смысл, рождавший в сердце каждого сострадание и стихийное противление. Но кому? Чему? Никто не знал.

Это чувство было хорошо знакомо и Хирургу. Он тоже испытал грусть оттого, что в какой уж раз не смог подействовать на рок событий. Для чего явилась на свет божий эта безвестная Николаевна? Конечно, не для того, чтобы воевать, ни за что сидеть в тюрьмах и долбить каменную почву в страшных советских лагерях.

«Но кто же тогда, Господи, – молча спросил Хирург, – вправе так распоряжаться судьбой этой женщины и многих других, загубленных на корню судеб и жизней?»

Ответа не последовало. Хирург понял, что на такой непростой вопрос однозначно ответить нельзя.

Старушка задремала. Снег на ее шапке и пальто превратился в капли блестящего бисера. Нижняя губа орденоносной партизанки набрякла, отвисла, лицо опухло, сморщилось, стало отталкивающе безобразно, и трудно, казалось, представить, что когда-то эта женщина была юной, прекрасной, созданной для любви и счастья.

...Хирург вынырнул из-под бурлящей волны и увидел ощеренные копыа голых деревьев уже метрах в двадцати от себя. «Это конец», – подумал он. Но не было ни страха внутри, ни

ужаса, ни ощущения жуткой неотвратимости, просто холодное понимание черты, за которой пустая тьма.

Лекарь машинально отвернул лицо, чтобы хоть его не обезобразило, и в следующее мгновение почувствовал резкий толчок в плечо. Толкающий предмет с силой еще раз двинул Хирурга в сторону искомого острова, и целитель осознал, что это Борис каким-то неведомым образом оказался рядом и вытолкнул Хирурга в сторону мимо острых бревен в узкую протоку.

Потом они некоторое время лежали на песке и молча смотрели, как движутся над ними быстрые, безразличные ко всему облака. Затем Хирург мысленно зашивал Борису рваную рану на плече, – все-таки зацепила его подводная пика, – а когда рана перестала кровоточить, лекарь достал из внутреннего кармана всегда хранившееся, но сейчас промокшее снадобье и наложил из него повязку на ссадину. Вскоре Борис уже и не помнил о боли.

– Как же ты поймал меня? – благодарно разговаривал спасенный лекарь. – Я уж думал: крышка. Не справлюсь.

– Я тебя берегом настиг, – возбужденно объяснял Борис. – Выскочил назад, догнал тебя и сиганул с обрыва. Хорошо – там высоко было. Иначе не успел бы. Ты аккурат в самую серединку завала рулил.

– Вот, Боря, тайга нас и породнила, – заключил Хирург, собирая костер для просушки. Он думал теперь о том, что кто-то с некоторых пор неусыпно заботится о нем, и о том, чтобы его встреча с сыном все-таки состоялась.

...Неожиданно из-за сопки выплыл поселок Клепка, врезавшийся в тайгу несколькими испуганными, кучно сжавшимися пятиэтажками, нахохлившимся угрюмым клубом, где размещались одновременно и местное управление лесом, и столовка, и спортзал. Вокруг пятиэтажек, как свора серых, бездомных зверей, тесно сидели какие-то амбары, сараи и хозпостройки.

Весь этот облезлый городок являл собою вид унылый, неприятный, непостоянный, выстроенный для мигрирующих контрактников, которые лишь на время надевали на себя ярмо скуки, тоски и однообразной работы с утра до ночи.

Впрочем, весь день тут был похож на вечер, сонно глядевший несколько часов на мир, и затем сразу превращавшийся в ночь. Правда, летом здесь все преображалось. Зеленела тайга, шумели реки, шла рыба, наливалась краской, расплзалась во все стороны брусника, полыхали безумным огнем между сопки закаты. Но лето было коротким, за ним снова наваливалась саднящая тоскою стынь.

– Приехали, рыбаки! – радостно воскликнула, очнувшись, старушка и стала поправлять мокрую шапку.

– Чего это ты, мать, все нас «рыбаками» кличешь? – потягиваясь, спросил один из золотодобытчиков. – Мы, между прочим, тут все старатели, в основном.

– Какие вы старатели? – усмехнулась орденоносная партизанка. – Все вы рыбаки. Понятно? Все хотите золотую рыбку споймать. Э-э-эх! Дураки! Колыма – черная страна. Тут сам Сатана живет. Напели вам про золотые горы, а вы и уши развесили. Жена твоя где?! – крикнула героическая старуха в лицо одному приисковому труженику.

– Как где? – опешил работяга. – Дома. Под Харьковом. Где ж ей быть?

– Вот так, – убежденно заключила опытная бабуса. – Она – там, а ты – здесь. Чего с ней происходит в жизни, ты понятия не имеешь. Вернешься, а там другой «рыбак» сидит. Тоже умный. А еще лучше – отморозишь себе завтра почки на прииске... не приведи, Господи, конечно! – и приедешь к ней без аппарата. Нужен ты ей такой со своим карманом? Вот и будите мучиться. Сам станешь искать, с какого моста удобней с камнем на шее спрыгнуть. Вот почему я вас всех «рыбаками» зову. Молодые, в голове – тырса.

– Ладно, тетка, – обиделся краснолицый в волчьей шапке. – Из тебя «зеленый змий» никак не выползет. Мы тут сами разберемся, чего нам делать и где жить.

– Стоим двадцать минут! – провозгласил морской шофер, когда все высыпались наружу. – Можете сбежать в столовку, пообедать.

– Пошли, хлопцы, – позвал краснолицый старатель, и вся его бригада дружно двинулась за ним.

Борис потоптался и тоже направился следом. Обернулся.

– Извините, ребята. Жрать хочу, как удав.

– Что же... – растерянно молвила старушка. – Так ко мне никто и не пойдет?

– Почему не пойдет? – возразил Хирург. – Мы пойдем. – Он взглянул на оставшихся Боцмана с Гегелем. Те согласно улыбнулись с христианской готовностью уважить пожилую женщину.

– Вот я вижу, – сказала страдалница-Николаевна, – вы не рыбаки. Вы свой народ. Мучимый.

Квартира ее находилась на первом этаже ободранной климатом пятиэтажки. Нижняя часть двери была не однажды отворяема или бита сапогами, о чем повествовали множественные черные отметины.

Легендарная бабуся долго ковыряла ключом пострадавший от облав участкового замок. Наконец, дверь со старческим скрипом открылась, и гости очутились в полупустой, зловонной комнате, где одиноко, каждый предмет сам по себе, стояли: железная кровать с никелированными шарами, какой-то угрюмый комод да кухонный стол, усеянный крошками и луковой шелухой.

На кровати мирно отдыхали все пять котов, которые с появлением хозяйки разом спрыгнули с засаленного байкового одеяла и стали тереться о ее ноги, выражая общим урчанием голод, любовь и долготерпение.

– От бляди, – нежно выразилась Николаевна и поласкала каждого кота рукой по голове. – Соскучились.

Она достала из внутреннего кармана газетный сверток с кошачьим питанием, состоявшим из рыбы, добытой, вероятно, у Федьки на лесопилке, и понесла его на кухню, приговаривая по-матерински:

– Сыночки мои, пойдете. Мама вас покормит. Мама не забыла. Как можно?

Хирург с товарищами застряли на пороге, так как сесть было некуда. У стола валялся лишь один опрокинутый на бок табурет. Кроме того, в комнате, прямо на полу, отвернувшись от света, у батареи спал среди бела дня неведомый лохматый человек в старой фуфайке, грязных штанах и рваных ботинках.

Гости сразу поняли, что именно за такими постояльцами охотился у Николаевны участковый.

Вернувшись с кухни, хозяйка вытащила початую бутылку и выставила ее на стол.

– Закусить, правда, нечем, – оповестила она, поднимая табурет. – Луковица одна есть. Подвиньте эту рухлядь, – показала Николаевна на сундук. – Сейчас стаканы принесу.

Тогда Боцман, освоившись, вытащил из рюкзака полбревна колбасы, собственноручно засоленного в тайге кижуча, банку красной икры и пару бутылок светлого вина. Гегель, до красноты надувшись лицом, двигал к столу допотопный сундук, а Хирург потрясенно застыл у единственной примечательности квартиры – фотопортрета на стене. На нем были изображены два прекрасных юных лица – парня и девушки. Хирург был поражен тем, что он где-то совсем недавно видел этих людей. И вдруг вспомнил. Словно горячим ветром обожгло память. Конечно! Именно эти два солнечно озаренных существа родились из серебряной пучины речки Лайковой, протянувшейся в бесконечном пространстве космоса, когда Хирург путешествовал в горных высотах по призыву Шамана. Там и услышал заветное: «Радуйся!»

Он и верил, и не верил глазам.

– Нравится? – спросила с грустной улыбкой Николаевна, присоединившись к созерцанию портрета.

Хирург молчал. Он никак не мог прийти в себя, потеряв в минуту ясность того, что же все-таки в жизни явь, а что призрачное мимолетное видение.

– Это вы? – заморожено произнес Хирург.

– Я, мил-человек, – вздохнула старушка. – Кто же? Я да Сашенька мой. Как раз перед войной снялись. Весь фронт прошел, Сашенька-то. А в сорок шестом лучшего его боевого друга арестовали ни с того, ни с сего. Саша пошел друга защищать. Ну, видать, разгорячился. Бросил им на стол партбилет. Рванулся с того собрания и случайно зацепил тумбу, на которой гипсовый Сталин стоял. Вождь вдребезги. И все. И покатился мой Сашенька на Колыму. Ну а я... Я с горя им такое письмо накатала, что и сама следом поехала. Больше мы никогда не виделись.

– Как же зовут вас? – горько спросил Хирург, так и не привыкший за долгие годы лагерей спокойно переносить сердцем чужую беду.

– Мария, – ответила женщина. – Была Мария. Маринка. Машенька. Теперь вот – Бабой Маней кличут. Участковый, зараза, теткой обзывает. А какая я ему «тетка», когда я вся в заслугах перед Родиной. И муж мой единственный, Сашенька, на фронте восемь раз раненый был. Восемь! А сгинул неизвестно где. Может, живой остался. Но разве теперь сыскать его? Мне уж не под силу. Чую: помру скоро. Время выпило из нас все соки. Есть я, и нет меня. Понимаешь мое положение?

У Хирурга вдруг резко заболело в груди. Он сел за стол и стал смотреть в окно, занавешенное снежной занавеской. Потом закрыл лицо руками и начал слушать, когда выйдет боль. Но боль не выходила. Хирург пошел и лег рядом с ночевавшим на полу человеком, чтобы посмотреть сквозь закопченный потолок, куда можно пристроить свою неожиданную грудную болезнь, просочившуюся по хорошо известному российскому каналу сопереживания чужой судьбе.

– Пусть отдохнет, – посочувствовала Хирургу баба Маня и содвинула собственный стакан со стаканами Гегеля и Боцмана. – Тоже, видать, намаялся в жизни.

При звуке стекла неизвестный у батареи зашевелился и сел, поворачив к присутствующим молодое, но запухшее лицо.

– Иди, Мишка, позавтракай, – позвала баба Маня. – Ко мне, видишь, приличные люди зашли. Не то, что ты, обыватель. Спишь целый день, как мои коты.

– На все промысел Божий, – процитировал Гегель, оправдывая Мишку.

Обыватель поднялся, молча налил себе вина, молча выпил, но к еде не притронулся, пока Боцман не подвинул к нему колбасу.

– Пожуй, – сказал он. – Ты когда ел в последний раз?

Мишка не ответил. Тупо и лениво перемалывал пищу Видно, ему по какой-то причине было еще не до еды.

– Дурни мы грешные! – неожиданно высказался Гегель. – Искушаемся, ленимся, обижаем друг дружку, а Храма Христова, состроенного им в три дня, принять не хотим. Не хотим и все.

– Правда твоя, – согласилась старушка, пьянея на глазах. – Не хотим. А почему? Вот Мишка. Нужен ему Храм? Он, оболтус, кочует по жизни, куда ветер свистит. Где нальют, накормят – тама ему и тепло. Тама ему и Храм. А нет – дальше покатился.

– Чего ж это мне Храм не нужен? – язвительно возразил Мишка. – Был бы Храм, я, может быть, блаженным каким устроился, – сыродоствовал он. – Осел бы. Не пил. Женился бы. Книжки читал. А то болтаюсь, что червяк: ни соскочить, ни уползти. Кругом менты. Сколько же я у них стены вытирать буду? Ночую, где попало. Ни отдохнуть, ни помыться. От меня уже на версту псиной несет – люди шарахаются. Разве это приятно? Да я их и сам обхожу, людей, потому что стал, как пес бродячий, тетя Маруся. И все мы, бичи, как псы. Никому до нас дела

нет. Кто хочет, камнем пухнет. Кто хочет, пошел на хрен скажет. Ментов же хлебом не корми: дай только палками по хребту погулять. Вот и уходит народ от мира в тайгу. Там и дом, и Храм, и молитва. А еще, тетя Маруся, у вас тюрьма Храмом была. Тюрьма да лагерь. Там вы лучшие годы в молитвах провели. Вам ли не знать это, тетя Маруся?

Героическая бабушка не ответила. Глаза ее стали стеклянными и неподвижными. Под веками, собрав на щеках паутину морщин, провисли синие мешки.

Бывшая партизанка медленно выбралась из-за стола, кое-как добрела до кровати и рухнула среди своих питомцев-котов.

Хирург лежал на деревянном полу и смотрел в серый, со следами неведомых пятен, потолок. Грудь жгло каким-то тихим пламенем, словно на изрытое ранами сердце насыпали соли.

Хирург закрыл глаза, достал из себя главный внутренний механизм – сердце – и поместил его в пространство воображения. Затем он провел профилактические меры, промыл, прочистил основные сердечные части, устранил в ходе душевной беседы обнаруженные дефекты и водворил орган на место.

Открыл глаза. Огня в середине тела больше не было.

Хирург поднялся. Еще раз полюбовался портретом, но теперь уже спокойно, даже радостно. Было в этом любовании лишь чувство детского, легкого удивления: как мог он в космосе встретить этих людей совсем молодыми, юными, неповторимо прекрасными. Хирурга вдруг озарило. Значит, он виделся с двойниками Марии Николаевны и Александра, и там, между звезд другого мира ему была уготована необыкновенная фантастическая встреча с ними. Все это казалось очень интересным и грело Хирурга каким-то новым открытием. Он готов был поиграть, подвигать рычажками мыслей, чтобы образовать некое, неведомое ранее, логическое построение, но неожиданно дверь от удара распахнулась, и на пороге возникло нечто в милицейской форме.

Оно, нечто, на мгновение застыло в маленькой прихожей, но тут же продвинулось в комнату, в зону света.

На руке милиционера был намотан поводок, на поводке вместе со служителем правопорядка вошла в комнату большая, грозного вида овчарка, которая тут же обнаружила преступное сборище многочисленных котов и залилась по этому поводу остервенелым лаем. Коты же отнеслись к свирепому псу не более чем к передвижной тумбочке, недостойной никакого внимания, и даже не шевельнулись.

Милиционер рявкнул на свою собаку, и она раболепно сомлела.

– Тэ-ак, вашу мать... – протяжно выразился блюститель порядка. – Пьянствуем?

Почти риторический, идиотский вопрос, произнесенный церемонным начальственным голосом, немо провис в воздухе. Но ненадолго.

– Сено отмечаем, – спокойно объяснил Боцман и, поворачась к милиционеру спиной, налил стакан вина. – Прицепи свою лохматую шмындру к дверной ручке, – приказал он милиционеру – Присядь. Выпей, согрейся. Чего ты скачешь вокруг трех домов да еще с собакой? Смешной ты, мент, ей-богу.

«Мент» действительно был смешной: маленького роста, с рябым лицом, рыжими до красноты волосами, курчаво торчавшими из-под шапки с кокардой, – он совсем не походил на образ усатого охранника порядка с квадратной челюстью и пудовыми кулаками, какими переполнены были колымские управления внутренних дел.

Смешной милиционер не сдался и в панибратство не вступил.

– А ну, выметайтесь отсюда, – грозно наказал он. – Не то собаку спущу. Уморили бабушку и сидят. Сенокосчики.

Хирург отрешенно смотрел на служителя правопорядка. Сколько же перевидал он их разных: и мужественных, и подлых, и скользких, и продажных, и неподкупных... Но без них

тоже нельзя – будет разбой и анархия. Хотя договориться с ними иной раз просто невозможно: «выметайтесь» и все.

Неожиданно все уладил Боцман. Он взял со стола кусок колбасы и, подойдя к ошетилившейся милицейской овчарке, поднес его к собачьей морде. Мясной продукт исчез в одну секунду, и овчарка теперь глядела на Боцмана влюбленными глазами.

– Если бы ты спустил собаку, сынок, – сказал Боцман смешному менту, – я бы порвал ее, как грелку. Слава богу, у тебя хватило ума не делать глупостей.

С этими словами старый моряк достал денежную бумажку и засунул ее милиционеру в карман.

– А сейчас иди, прогуляй животное. Видишь, оно писать хочет. Насчет нас не волнуйся. Пообедаем и поедем своей дорогой. Заметил, во дворе автобус отдыхает? Иди, сынок. Иди, – приговаривал Боцман, подталкивая милиционера к двери. – Здесь накурено, а ты, судя по всему, спортсмен. Тебе тут вредно. Здоровье поломаешь. А оно одно, здоровье-то.

– Так бы и сказали, – вдруг переменялся охранник порядка. – Автобус – это понятно. Только не задерживаться. Чтoб ни одного человека. Мне только вас не хватает.

– Ладно, сынок. Ладно, – все приговаривал Боцман. – Иди, купи себе что-нибудь для согрева, а то замерзнешь вместе со своей собакой. Нам жалко будет. Звать-то тебя каким именем?

– Сашка, – улыбнулся и вдруг стал совсем юным служитель порядка. И добавил доверительно: – А фамилия мне – Цемашко. Вот и выходит, хлопцы, что я скоморохом уродился: Сашка Цемашко. Кругом все смеются. Вот я и пошел в милицию: тут я при оружии, при фуражке, при собаке и, конечно, посреди начальства. Да и сам я, как ни крути, а все ж-таки тоже начальник поселка. Там – это, тут – таво, мало ли, какие бывают приключения. Вот, значит, вы тут, к примеру, объявились. Бог вас знает, что вы за люди...

– Ну давай, начальник, дуй на службу. А хочешь – выпей на посошок, чтоб тебе там зорче было врага углядеть.

– А наливай, – махнул рукой и сдался Сашка Цемашко. – И правда, стужа окаянная.

– Эх ты, Цемашко, Цемашко, – молвил по-отечески Хирург. – Мальчишка еще, а выкаблучиваешься. Пришел бы как человек, сел за стол и поговорили бы о том, о сем. Людей уважать надо, Саша. Ты жерываешься с собакой, как вепрь. Нехорошо.

Цемашко хотел было обидеться, потому что не знал, что такое вепрь, но его уже грела изнутри водка, и он лишь напялил шапку с кокардой, еще раз напомнил, чтоб не задерживались, и удалился восвояси.

Собригадники посидели еще некоторое время, празднуя победу над сеном, но вскоре дурным голосом заревел сигнал автобуса, и братство стало собираться в дорогу.

Попросился в компанию и залетный, оторванный от жизни Мишка, посетовав, что не имеет в кармане средств на всяческие дальнейшие передвижения. Для Хирурга и его друзей это не имело никакого рокового значения. Мишку взяли, тем более что последние годы он был человек пеший, таежный и умел питаться ветром, запахом елки, словом, был неприхотлив, смекалист, а главное – в тайге ориентировался, по его словам, как в собственной квартире. Но ко всему этому, как выяснилось в пути, Мишка прикоснулся лишь недавно, а вначале он был столичным студентом МГУ, филологического факультета. Как он попал в колымские бичи, объяснить воздержался. Так, мол, случилось. Видно, для него это были нелегкие воспоминания.

Несмотря на грязную одежду, Мишка был человек чистоплотный. У тети Мани он принимал ванну дважды в день и брился до гладкого лица, но спать, однако, ему приходилось на полу у батареи. Деваться ему действительно было некуда. Да еще вьедливый участковый Цемашко донимал. Мишку взяли в бригаду, и одним наличным философом стало больше. Хирургу нравилось такая диспозиция. Он любил образованных людей, а тут – МГУ..

«Пусть шествует, – внутренне одобрил Мишку Хирург. – Земля, она только мудрости учит, потому что от Бога произведена. И все на ней само по себе мудро. Все-таки неправильно, что человек набирается ума лишь под конец жизни. Вот если бы изначально, с детства учился он разуму здесь. Среди вечной природы и уж потом подкреплял свой ум разными науками, тогда только был бы толк. Настоящий, прочный, нерушимый никакими поветриями».

Героическая старушка осталась ночевать среди тихих, ласковых котов, а четверо путников, выложив на стол немного продуктов и часть общих денег, осторожно прикрыли за собой дверь.

Молодой, но настырный участковый, как и положено ему было, бдительно дежурил со своей кареокой овчаркой недалеко от дома.

– Экий неуклонный, – восхитился Гегель.

«Неуклонный» неожиданно радостно помахал путникам рукой, как добрый друг, провожающий старых товарищей в дальнюю дорогу.

Боцман усмехнулся:

– Вот тебе и Сашка Цемашко, начальник Клепки.

– Зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначально, – изрек Гегель, как всегда невпопад. – И сколько нечестия народило оно доселе и будет нарожать до тех пор, пока не настанет молотьба. Рассуди с собою, сколько зерно злого семени народило плодов нечестия!

Люди, пришедшие на посадку, переглянулись, но поняли, что Гегель выпивший, и пытаться его, о чем он вещает, не стали.

Народ, сытый, раздобревший, залезал в автобус. Гомер так и сыпал анекдотами, но теперь смеялись более спокойно и сдержанно.

От походной пищи у старателей в животах было тепло, но бурчливо: все же столовка не ресторан. Однако душа, обласканная пропитанием, теперь жила удобней и радостней.

И вот снова они ехали в ширь пространства между сопками и океаном, пластавшимся справа серым, распаханном полем. Вдали, посреди грозного океанского поля, маячили корабли, и казалось, совсем недалеко от берега параллельно автобусу движется сигарообразная подводная лодка.

У Боцмана от этого маринистского пейзажа пылало сердце, и он внутренне ликовал от происходящего вокруг соразмерного порядка жизни.

Гегель тихо шептал себе: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск с лица огня, тако погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующимся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся».

При сем речении Гегель благостно озарялся светозарною улыбкой и становился похож на блаженного.

Мишка против всех сытых и довольных уныло глядел в заметаемый снегом мир, и непонятно было: то ли в его теле живет какая-то тоска, то ли жжёт его некая идея, и, конечно, вполне возможно, махал ему синим платочком далекий и теперь уже призрачный МГУ, в котором, вероятно, могла остаться милая его сердцу сероглазая студентка. Все это могло быть и так, и этак и еще как-нибудь... – то никому не было ведомо.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.